ВАЛИК № 7



Денис Гутянский

Валик «Номер 7»

«Автор»
2026

Гутянский Д. С.

Валик «Номер 7» / Д. С. Гутянский — «Автор», 2026

Старое дерево не умеет лгать - оно лишь ждёт рук, способных его услышать.В мастерскую петербургского реставратора Александра Верещагина привозят редкий дрезденский секретер XIX века. Заказчик - умирающий миллионер Марк Блюм, чьи люди требуют не задавать лишних вопросов. Но в потайном пазу бюро мастер находит латунный валик «7» и встроенный под чернильницей уникальный акустический механизм.Созданный в блокадном Ленинграде часовщиком Аркадием Гринбергом, резонатор передаёт звук через дерево прямо в память человека. Стоит прижать ладони к крышке - и оживают ледяной февраль 1942-го, ночной страх чисток 1949-го и трагический март 1968-го. Изобретение, призванное сберечь голоса любимых, оказалось во власти полковника МГБ, намертво связав две семьи узлом шантажа и немой жертвенности.Вместе с дочерью Аней реставратору предстоит пройти по следам уцелевших записей через старый Петербург и музейные архивы, чтобы вернуть живым и ушедшим их подлинные имена.

© Гутянский Д. С., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 23
Глава 3 39
Глава 4 54
Гл 71
Конец ознакомительного фрагмента. 72

Денис Гутянский
Валик «Номер 7»

Глава 1

Глава 1. Секретер

В мастерской пахло льняной олифой, мокрым гранитом и кошкой. Кошка была не виновата, но пахла тоже — холодной чердачной жестью, прелым тополевым листом и чем-то неуловимо домашним, вроде тёплой ржаной корки.

Александр Павлович Верещагин снял отсыревший на утреннем ветру плащ, повесил его на кованый четырёхгранный гвоздь у входной двери — на этот гвоздь ещё его дед, вернувшись со службы на Варшавской железной дороге, вешал тяжёлую суконную шинель, а дед, если верить семейному преданию, был человеком системы и характера, — и щёлкнул карболитовым выключателем над верстаком. Длинная лампа под зелёным эмалированным козырьком зажглась не сразу: капризно помигала с сухим старческим треском, словно припоминая, какой нынче год на дворе и стоит ли вообще светить в такую хмарь, и наконец залила дубовую столешницу густым янтарным светом.

Флюшка, крупная полосатая кошка неизвестной, но явно независимой породы, сидела на широком подоконнике у приоткрытой форточки и наблюдала за октябрьским ливнем с выражением старого петербургского философа, который давно всё понял про этот город, но из врождённой деликатности держит выводы при себе.

— Доброе утро, — сказал ей Александр Павлович, подходя к чугунной раковине в углу и поворачивая латунный барашек крана. Вода пошла сначала рыжая, с сердитым кашлем старых труб, потом ледяная и чистая. — Или что там у нас сегодня по небесной канцелярии.

Кошка лишь повела надтреснутым правым ухом. Она принадлежала к тем созданиям, которые искренне полагают, что человеческая речь изобретена от нехватки усов и неумения вовремя промолчать.

Верещагин поставил на одноконфорочную плитку закопчённый эмалированный чайник, насыпал в жестяную баночку водяной бани гранулы столярного мездрового клея — пусть набухают, пока закипит вода, — и повернулся к середине комнаты.

На низких дубовых козлах, подстеленных куском старого войлока, стоял предмет, ради которого он и спустился сегодня в мастерскую в половине седьмого утра, хотя вполне мог ещё час пролежать под тёплым одеялом в своей квартире на третьем этаже того же дома, слушая, как дождь хлещет по оцинкованным водостокам Малого проспекта, и притворяться, что пятьдесят восемь ему только по паспорту.

После того как четыре года назад в октябре не стало Лены, утренние часы наверху давались ему тяжелее всего. В квартире вещи хранили человеческую пустоту — остывшую, неподвижную, в которой каждый скрип паркетной плашки напоминал о том, что отвечать некому. А здесь, в полуподвале с толстыми кирпичными сводами, среди запаха сандарака, пчелиного

воска и сухой берёзовой стружки, время имело плотность и сопротивление материала. Его можно было зажать в столярные тиски, выверить угольником и зачистить циклей до живого слоя.

Предмет на козлах был хорош. Более того — он был редок.

Кабинетный секретер красного дерева, строгая немецкая работа последней четверти девятнадцатого века. Если бы Александра Павловича спросили без подготовки, он бы назвал Дрезден, между восемьдесят пятым и девяностым годом: характерная сдержанная архитектура без венской кудрявости, точёные полуколонки с тусклыми латунными базами, карниз спокойного классического профиля. Бумажный ярлык мануфактуры на задней стенке был когда-то давно содран вместе со стружкой, так что оставалось полагаться на глаз и подушечки пальцев.

Верхний ярус венчало невысокое фацетированное зеркало в резной раме с потемневшей амальгамой, глубже которой плавали мутные подводные пятна. Под зеркалом располагалась откидная письменная доска, а ниже — тумба на три глубоких ящика с фигурными ключевинами. Старый шеллачный лак за полтора столетия помутнел, покрылся мелкой сеткой кракелюра, а на левой боковине вздулся белёсыми волдырями — верный знак того, что когда-то давно рядом с секретером топили чугунную буржуйку, а потом оставляли его в вымерзшей насквозь комнате. Но под израненной плёнкой старой политуры массив гондурасского махагони оставался плотным и звонким. Дерево не умерло. Оно дышало.

Верещагин подошёл вплотную и медленно провёл раскрытой ладонью по правой филёнке — так старый земский терапевт кладёт руку на грудь больного прежде, чем достать стетоскоп.

— Ну что, голубчик, — негромко сказал он. — Давай знакомиться. Откуда ты такой ко мне приехал?

За тридцать с лишним лет реставрационной работы Александр Павлович научился безошибочно различать два рода тишины. Бывает тишина пустого шкафа — просто высушенная древесина, столярный клей и окислившаяся медь. А бывает тишина затаённая, густая, наэлектризованная, когда старая вещь знает о своих прежних владельцах куда больше, чем положено неодушевлённому предмету.

Впрочем, мистиком Верещагин никогда не был. Он не верил ни в привидения, ни в проклятые родовые гарнитуры, о которых так любят сочинять байки салонные перекупщики с Невского. Он верил в плотность годовых колец, в химию спиртовых смол, в честную геометрию шиповых соединений «ласточкин хвост» и в то, что работа хорошего мастера сохраняет тепло его рук даже через сто лет. Всё остальное он относил на счёт петербургского климата и расшатанных нервов.

Секретер привезли вчера в сумерках. Двух плечистых грузчиков в одинаковых тёмных комбинезонах сопровождал лично Игорь Вельяминов — управляющий антикварного дома «Северный Ковчег», холёный мужчина лет сорока пяти в длинном кашемировом пальто цвета мокрого сланца. У Вельяминова было гладкое, породистое лицо человека, который прекрасно знает себе цену, и безукоризненные манеры человека, обученного эту цену без крайней нужды вслух не называть. Пальто он в мастерской снимать не стал — только скользнул сомневающимся взглядом по дедовскому гвоздю у косяка и остался стоять у двери, опираясь обеими руками в тонких кожаных перчатках на трость сложенного зонта.

— Особый заказ, Александр Павлович, — произнёс он тогда, аккуратно обходя носком английского ботинка пятно старой морилки на дощатом полу. — Наш владелец чрезвычайно дорожит этим предметом. В средствах вас не стесняем, но расчистка и переполировка должны быть сделаны в кратчайший срок.

— Владелец — это кто? — спросил Верещагин, заполняя квитанцию приёмки. Он привык знать, для чьих рук спасает дерево: не из праздного любопытства, а из элементарной профессиональной гигиены.

— Марк Соломонович Блюм, — ответил Вельяминов с той бархатной, чуть пониженной интонацией, с какой в Петербурге произносят имена людей, способных купить половину Литейного проспекта вместе с фонарными столбами. — Вы наверняка слышали о его собрании. Он ищет редкие предметы старого петербургского и ленинградского быта. Точнее сказать, Марк Соломонович коллекционирует память.

— В секретерах? — Верещагин поднял глаза от бланка.

— В вещах, Александр Павлович. Люди склонны умирать, забывать и переписывать прошлое набело. А красное дерево не лжёт.

Вчера Верещагин пропустил эту красивую фразу мимо ушей. Антиквары — народ театральный: червоточину от жука-точильщика они именуют «благородной печатью века», а прожжённое папиросой сукно — «драматическим провенансом». Но сейчас, в пустой утренней мастерской, под однообразный шум дождя за окном, слова управляющего почему-то всплыли в памяти с неприятной отчётливостью.

Александр Павлович водрузил на переносицу рабочие очки в роговой оправе — на улице он предпочитал щуриться, полагая, что очки делают его похожим на отставного учителя географии, хотя дочь Аня уверяла, что старит его как раз привычка морщить переносицу, — и принялся за первичный осмотр.

Сначала — простукивание. Согнутым средним пальцем правой руки, твёрдой сухой костяшкой, неспешно и размеренно по каждой филёнке, по боковым устоям, по фризу и нижнему цоколю. Выдержанный массив отзывался чистым, суховатым деревянным тоном. Слишком ровным. Верещагин нахмурился и прошёл пальцами по левой боковине ещё раз, приложив ухо почти вплотную к лаку.

Так не бывало. Немецкие кабинетные секретеры восьмидесятых годов девятнадцатого века почти без исключений строились с «секретом» — пружинным пеналом для долговых расписок за центральной нишей, пустотелой пилястрой на деревянной защёлке или двойным поликом под чернильным прибором. Здесь же звук шёл глухой, плотный, будто внутри не оставалось ни единой воздушной полости.

Он взялся за латунные ручки-кольца и откинул письменную доску на скользящих кулисах.

Внутри открылась строгая, знакомая по десяткам каталогов картина: центральная ниша с резной стрельчатой аркой, узкие вертикальные соты для писем и бумаг, три малых выдвижных

ящичка с точёными костяными пуговками и круглое гнездо для чернильницы справа, окантованное потускневшим медным ободком. Зелёное сукно на доске вытерлось до белёсой основы как раз там, где десятилетиями лежало правое предплечье пишущего человека, а вокруг чернильницы въелись в дерево старые фиолетовые и рыжие брызги.

Верещагин потянул на себя верхний большой ящик тумбы.

Ящик пошёл по внутренним дубовым направляющим совершенно бесшумно, мягко, словно по маслу. Старый реставратор остановил руку на полпути и насторожился. Мебель, простоявшую без музейного климат-контроля сто двадцать лет, неизбежно ведёт от зимнего парового отопления и осенней сырости — ящики либо клинят в перекошенных гнездах, либо идут с сухим скрипом дерева по дереву. Этот же скользил так, будто его полозья совсем недавно притирали парафином или кто-то пользовался этим секретером не как памятником старины, а как живым рабочим инструментом.

Он вынул все три ящика один за другим, сложил их на чистую рогожу у стены, исследовал с переносной лампой внутреннюю клеть корпуса. Чисто. Ни свежих стамесочных задиров, ни скрытых пружинных язычков.

— Хитришь, брат, — вслух проговорил Верещагин. В пустой мастерской разговор с упрямым комодом или креслом давно не считался признаком чудачества. — Не верю я, чтобы дрезденский столяр выпустил тебя из цеха без единого потайного кармана. Где же ты его держишь?

Он опустился на корточки перед правой боковиной — колени отозвались привычным сухим хрустом — и медленно провёл подушечками пальцев вдоль нижнего фигурного обклада у самого пола.

Древесина под ладонью показалась странно тёплой. Не комнатной температуры — внизу у каменного пола всегда тянуло подвальным холодом, — а живой, словно внутри массива тлел невидимый уголёк. Александр Павлович одёрнул руку, усмехнулся собственной мнительности, но взял с верстака четырёхкратную часовую лупу и заглянул под свес резного углового завитка.

Там, в глубокой тени калёвки, куда не добралась бы ни одна половая тряпка при самой ревностной уборке, темнела риска. Она шла строго поперёк древесных волокон — тонкая, как след от опасной бритвы, и геометрически прямая. Случайные царапины от каблуков или при переезде всегда рвут волокно вкривь и вкось. Так режут дерево только тогда, когда точно знают, что делают.

Верещагин взял плоский костяной шпатель. Под лупой риска оказалась волосяным стыком: в массив цокольного бруса была заподлицо впущена узкая планка из того же куска махагони, идеально подобранная по рисунку слоёв и затонированная старым лаком. Александр Павлович нащупал на нижнем ребре еле заметную выемку, ввёл туда остриё шпателя и плавно нажал вниз, преодолевая упругое сопротивление стальной рессоры.

Внутри сухо, коротко цокнул замочек. Наружная планка подалась на себя миллиметра на четыре, открывая узкий горизонтальный паз, выбранный долотом прямо в толще нижней обвязки.

На подоконнике Флюшка перестала следить за дождём, мягко спрыгнула на пол и подошла к козлам, уставившись круглыми жёлтыми глазами в открывшуюся щель.

— Сиди смирно, — не оборачиваясь, велел ей Верещагин. — Сейчас посмотрим, что тут за наследство.

Длинным хирургическим пинцетом он подцепил из глубины паза небольшой продолговатый свёрток и вытянул его на свет. Старая небелёная холстина пожелтела от времени, но, когда Александр Павлович поднёс её к лицу, пахнуло не мышиным тленом и не плесенью, а чистым костяным маслом — тем самым, каким старые часовщики смазывали палеты анкерного спуска и тонкие цапфы шестерён.

Он развернул холстину на ладони.

Внутри лежал точёный латунный цилиндр длиной с указательный палец и толщиной в охотничий патрон шестнадцатого калибра. По обоим краям валика шли узкие ведущие венцы с мелкими косыми зубцами, как у червячной передачи, а вся средняя, отполированная до зеркального блеска часть была покрыта густой, едва различимой невооружённым глазом спиральной нарезкой — втрое тоньше, чем дорожка на патефонной пластинке. На плоском правом торце твёрдой рукой гравёра с тонкими засечками было вырезано: «№ 7».

Металл на ладони был тёплым. Он определённо грел кожу.

Верещагин положил цилиндр на зелёное сукно верстака, вытер пальцы о фартук и посмотрел на кошку. Та сидела на задних лапах и, вытянув шею, нюхала воздух в полуметре от края стола, не решаясь подойти ближе.

— Это латунь, Флюшка, — громко и назидательно произнёс Александр Павлович. — Сплав меди и цинка. Обладает высокой теплопроводностью и мгновенно забирает тепло человеческих пальцев. Обыкновенная физика за седьмой класс.

Кошка медленно, с невыразимым пренебрежением моргнула.

Верещагин вздохнул, потянулся было к цилиндру, чтобы спрятать его обратно в паз до полной разборки корпуса, как вдруг воздух в мастерской странно, почти осязаемо сгустился — так бывает перед грозой или когда в соседней парадной глухо ухает тяжёлая дубовая дверь, сжимая сквозняк в коридоре. Монотонный шум дождя за окном на миг провалился в ватную немоту.

А в следующую секунду прямо из-под откидной доски секретера, из глубины его пустых деревянных ячеек, прозвучал голос.

Он шёл не по воздуху в ушные раковины, но и не мерещился в мыслях — казалось, сухой столетний массив дерева сам сработал как дека старой виолончели, отдав в тишину короткое, сберегаемое десятилетиями колебание. Голос был женский, тихий, надтреснутый от слабости, с тем неповторимым старопетербургским выговором, который Верещагин помнил ещё по своей бабке:

— Не открывай, пока не стемнеет.

Александр Павлович замер с протянутой над верстаком рукой.

Секунду он стоял не дыша, глядя на матовое зеркало секретера. Потом медленно выпрямился, снял очки и обвёл взглядом мастерскую. Всё было на своих местах: тиски у края столешницы, ряд полукруглых стамесок в кожаном гнезде на стене, мерное бульканье закипевшего чайника на плитке.

— Сто шестьдесят на сто, — хрипловато сказал он вслух и крепко потёр пальцами переносицу. — В прошлый вторник тонометр зашкаливал. Аня русским языком предупреждала: при спазме сосудов головного мозга бывают слуховые обманы. Допрыгался, старый дурак. Таблетки надо пить вовремя, а не бегать к верстаку ни свет ни заря.

И всё же оставлять неучтённый латунный валик с микронной звуковой нарезкой внутри чужого бюро он почему-то не захотел. Верещагин аккуратно завернул цилиндр «№ 7» обратно в промасленную холстину, опустил свёрток в глубокий нагрудный карман рабочего фартука, а потайную планку в цоколе задвинул до сухого щелчка рессоры.

Ровно в десять часов утра в уличную дверь постучали — три чётких, размеренных удара костяшками. Так стучат люди, не сомневающиеся в своём праве входить без ожидания.

Вельяминов стоял на мокром крыльце под тем же огромным чёрным зонтом. Переступив порог, он аккуратно стряхнул капли на резиновый коврик, прислонил зонтк косяку и улыбнулся — гладкой, безупречно вежливой улыбкой, которая не задевала его холодных серых глаз.

— Доброго утра, Александр Павлович. Проезжал неподалёку по Большому проспекту в банк, дай, думаю, загляну на минуту. Как наш дрезденский гость?

— Осваивается, — сдержанно ответил Верещагин, заслоняя собой край верстака. — Дышит понемногу.

— Дышит? — Вельяминов едва заметно приподнял бровь.

— Так у нас говорят, когда массив не пересушен до мёртвой трухи. Столярка крепкая, шипы держат. Но лак на левом боку поведён от старого перегрева, а бронзу нужно отмачивать и чистить вручную. Полтора месяца работы, как мы вчера и записали.

— Полтора месяца — срок немалый, — управляющий прошёл вглубь мастерской, скользнув быстрым, цепким взглядом по вынутым на рогожу ящикам, откинутой письменной доске и пустой клети корпуса. — Марк Соломонович человек преклонных лет и весьма слабого здоровья. Ему не терпится увидеть вещь в первозданном виде. Кстати... вы ведь уже простукали стенки? В старых немецких бюро конца девятнадцатого века то и дело обнаруживаются всякие потайные отделения. Забытые письма прежних владельцев, процентные бумаги, какие-нибудь нестандартные металлические части...

Он произнёс это легко, почти небрежно, словно к слову пришлось. Слишком легко. Так спрашивают, когда отчаянно надеются услышать «да» и одновременно боятся, что собеседник уже заглянул внутрь находки.

Верещагин спокойно посмотрел ему прямо в переносицу:

— Пока кроме вековой пыли, высохшего паука и старых чернильных пятен ничего не обнаружил.

— Вот как. Но я ведь только начал осмотр, скажете вы? — Вельяминов мягко улыбнулся, подходя на шаг ближе. От его кашемирового пальто тонко пахло дорогим табаком и одеколоном с горчинкой ветивера. — Что ж, тем спокойнее. Но у меня к вам убедительная просьба, Александр Павлович. Если в ходе разборки вам попадётся что-нибудь не предусмотренное мебельной конструкцией — бумаги, чертежи или мелкие точёные детали, — не прикасайтесь к ним голыми руками и немедленно наберите мой прямой номер. В любое время дня и ночи.

— Боитесь, что сломаю чужой секрет?

— Боюсь за ваше здоровье, — с проникновенной, почти отеческой теплотой ответил Вельяминов. — Старые ленинградские архивы и механизмы, пролежавшие десятилетиями в закрытых полостях, порой несут на себе крайне неприятные вещи. Споры токсичной чёрной плесени, окислы тяжёлых металлов... Для человека вашего возраста и комплекции это может оказаться весьма небезопасным. Мы ведь хотим, чтобы вы спокойно довели заказ до конца, не правда ли?

Когда за управляющим закрылась дверь и за окном прошуршали шины отъехавшего автомобиля, Александр Павлович долго стоял посреди мастерской, слушая, как капает вода с крана в чугунную раковину. Затем он достал из нагрудного кармана фартука свёрток и посмотрел на латунный торец с цифрой «№ 7».

Вельяминов приехал в десять утра вовсе не ради разговоров о шеллачной политуре. Он проверял, нашёл ли реставратор тайник. Причём управляющий и сам не знал точно, что именно спрятано внутри секретера — старые бумаги или точёная латунь.

— Кажется, Флюшка, — тихо сказал Александр Павлович, глядя на кошку, — мы с тобой влипли в очень скверную историю. И сегодня нам явно будет не до полировки.

К полудню ливень иссяк, сменившись той мелкой петербургской изморосью, которая не падает с неба, а неподвижно висит в сыром воздухе между брандмауэрами, оседая седым бисером на сукне пальто и бровях прохожих.

Прежде чем покинуть мастерскую, Верещагин отодвинул секретер на ладонь от стены и с инспекционным фонариком осмотрел его заднюю обшивку. В самом низу, на грубой некрашеной сосновой доске под слоем многолетней паутины и печной сажи, уцелел прямоугольник плотной желтоватой бумаги, намертво посаженный на столярный костный клей. Отдирать старые владельческие ярлыки считалось в ремесле последним варварством, поэтому Александр Павлович просто осторожно смахнул пыль сухой беличьей кистью и сфотографировал надпись на телефон.

Строчки, выведенные по линейке фиолетовым химическим карандашом, местами расплылись от давней сырости, но чёткий, с правильным гимназическим наклоном почерк читался без труда: «Собственность Левитиной А. М. Петроградская сторона, ул. Ленина, д. 14, кв. 9. Май 1946 г.».

Тот же самый адрес стоял и в транспортной накладной экспедиторов, которую вчера подписал Вельяминов. Стало быть, секретер привезли к Верещагину не из особняка коллекционера Блюма и не из запасников «Северного Ковчега» на Невском, а напрямую из старой квартиры на улице Ленина.

От Малого проспекта до четырнадцатого дома по улице Ленина (бывшей Широкой, как по старой памяти мысленно поправил себя Александр Павлович) было четверть часа неспешного хода. Он снял рабочий фартук, переложил свёрток с тёплым латунным валиком во внутренний карман пиджака под плащом, проверил, на месте ли визитные карточки, и вышел на улицу.

Шестиэтажный доходный дом начала прошлого века встретил его потемневшим гранитным цоколем, облупившимися до красного кирпича совами под эркерами и узкой подворотней, из которой тянуло сырой известкой и прелым кленовым листом. Шагнув через глубокую лужу, в которой, как в куске тёмного слюдяного стекла, отражался колодец питерского неба, Верещагин вошёл в правую парадную.

Здесь всё было знакомо до сердечной щемоты: стертые посередине лещадные плиты пологих маршей, кованые чугунные балясины с остатками десятка слоёв масляной краски, высокие окна на межэтажных площадках с выбитыми когда-то цветными витражными вставками и вечный, неистребимый запах старого ленинградского подъезда — смесь жареного лука, кошачьей валерьянки и мокрой шерсти.

На третьем этаже перед высокой двустворчатой дверью девятой квартиры, обитой потрескавшимся коричневым дерматином с мебельными гвоздиками, Александр Павлович остановился перевести дух. Костяная пуговка старинного электрического звонка была вдавлена намертво и не работала, а рядом криво висела лишь одна пластмассовая кнопка без фамилий. Он нажал её, подождал полминуты, а затем негромко постучал согнутым пальцем в верхнюю филёнку.

За дверью долго было тихо — только где-то в глубине квартиры бубнило на кухне проводное радио. Потом послышалось осторожное шарканье войлочных туфель, щёлкнул засов, и дверь приоткрылась ровно на длину стальной страховочной цепочки.

В узкой щели показалось маленькое, сухое старушечье лицо в сером пуховом платке, накинутом поверх домашней кофты, и настороженные, выцветшие глаза за толстыми бифокальными стёклами.

— Если вы опять от господина Вельяминова из «Ковчега», то я ничего больше подписывать не буду, — без предисловий, сухим надтреснутым голосом объявила старушка. — Секретер вчера забрали, деньги перевели на сберегательную книжку, расписку я дала при свидетелях. Никаких старых бумаг и ключей от него у меня нет и не было.

— Простите ради бога за беспокойство, — Верещагин чуть отступил к чугунным перилам, чтобы не нависать над дверью, и двумя пальцами протянул в щель карточку из плотного ватмана. — Меня зовут Александр Павлович Верещагин. Я не скупщик, я старый реставратор по дереву, моя мастерская тут по соседству, на Малом проспекте. Вчера вечером мне привезли ваш секретер в работу. На задней стенке сохранился бумажный ярлык мая сорок шестого года

с фамилией Левитиной Анны Михайловны. Я пришёл просто как мастер — спросить, не осталось ли в семье каких-то сведений о прежнем виде вещи или отвалившихся резных деталях, прежде чем я начну снимать старый лак.

Старушка взяла карточку, долго подносила её то ближе, то дальше от очков, затем поверх оправ внимательно оглядела самого гостя — его поношенный плащ, седую щетину, а главное, широкие ладони с въевшимся в поры тёмным бейцем и сбитыми ногтями мастерового человека. Что-то в её лице чуть отпустило.

— Надо же, — проворчала она. — Живой краснодеревщик. А то вчера заявился этот павлин в кашемировом пальто с двумя молодцами, даже калош не снял и всё шарил глазами по углам да по антресолям, будто я тут царскую казну прячу. Ладно уж, заходите, не стойте на лестничном сквозняке. Только ноги об половичок хорошенько вытрите. Меня зовут Вера Марковна Штерн.

Бывшая большая коммуналка на пять семей давно опустела и стала отдельной квартирой, но сохранила планировку и гулкое эхо ушедшей эпохи. В длинном полутёмном коридоре под четырёхметровым потолком с треснувшей лепной розеткой стоял у стены старый дорожный велосипед «Прогресс» со спущенными шинами и обмотанным синей изолентой седлом, а на кривоногой тумбочке у зеркала громоздились стопки старых номеров «Науки и жизни» и жестяная коробка из-под монпансье с катушками ниток. Из четырёх высоких дверей в комнаты три были наглухо закрыты, а из четвёртой и из конца коридора тянуло тёплым домашним духом печёного яблока, сушёной мяты и капель Зеленина.

На узкой кухне с высокой медной газовой колонкой и окном, упиравшимся прямо в мокрую кирпичную стену флигеля напротив, Вера Марковна зажгла конфорку под пузатым чайником и выставила на чистую клеёнку две старенькие фарфоровые чашки с полустёртым золотым ободком и вазочку с колотым рафинадом.

— Нет у меня никаких отвалившихся деталек от этого секретера, Александр Павлович, — сказала она, садясь напротив него на венский стул и пряча озябшие кисти рук в рукава кофты. — Да и не наш он был родом. Мы с мамой и младшим братишкой Юркой въехали в эту квартиру из эвакуации из-под Чистополя в начале апреля сорок шестого года, мне тогда одиннадцатый год шёл. В нашем прежнем доме на Разночинной фугасной бомбой снесло полкрыла, вот райжилотдел и дал нам ордер сюда, в комнату погибших соседей. А в большой угловой комнате с двумя окнами доживала свой век Анна Михайловна Левитина.

— Та самая, чей почерк на ярлыке?

— Она самая. Старая учительница русской словесности, ещё до революции в женской гимназии Таганцевой преподавала. Строгая была старуха, прямая как струна, даже когда от водянки и блокадного сердца уже с постели подняться не могла. Муж её, врач Павел Николаевич Левитин, помер в январе сорок второго года прямо у себя в амбулатории, старший сын под Синявином без вести пропал. А младшая дочка Лидочка с июня сорок первого служила операционной сестрой в военно-санитарном поезде. Поезд их после Победы в Германии перебросили на войну с Японией, и застряла Лида в госпиталях под Харбином до самого лета сорок шестого. Анна Михайловна в мае чуяла, что не дотянет до дочкиного возвращения, вот и попросила нашего соседа-столяра приклеить на спинку секретера тот ярлык да заверить у управдома — смертельно боялась, что пока дочка в дороге, фининспектор опишет немецкое

бюро как выморочное имущество. Двадцатого мая сорок шестого мы Анну Михайловну на Серафимовском кладбище схоронили, а Лидочка приехала с чемоданчиком в середине июня. На три недели разминулась с матерью.

Вера Марковна замолчала, глядя на синий венчик газового пламени под чайником.

— И секретер перешёл к дочери? — осторожно спросил Верещагин.

— Перешёл. Это ведь было приданое ещё её бабушки, привезённое из Саксонии. В этой угловой комнате Лида с мужем и прожили двадцать два года, до марта шестьдесят восьмого. Муж её, Аркадий Соломонович Гринберг, вернулся в квартиру на полгода раньше Лиды — они ведь расписались в мае сорок первого, совсем зелёные были, Лиде девятнадцать, ему двадцать шесть. Аркадия Соломоновича из-за сильной близорукости на передовую не взяли, но всю блокаду от первого до последнего дня он проработал здесь, в осаждённом Ленинграде, в какой-то сверхсекретной приборостроительной мастерской при Большом доме на Литейном. Механик и часовщик был такой, каких теперь и не делают. Говорили, что он слепому на ощупь мог собрать репетир с боем. Он ведь в феврале сорок второго Анну Михайловну от верной смерти и вытащил: ходил к ней пешком с Литейного через Троицкий мост в тридцатиградусный мороз, носил в кармане полушубка паёк шпика и колотые ящики на растопку.

Александр Павлович невольно коснулся пальцами борта плаща, под которым лежал латунный валик.

— Вера Марковна, — негромко спросил он, — а почему вы так настороженно встретили меня у дверей, когда зашла речь о людях из «Северного Ковчега»?

Старушка посмотрела на него долгим, понимающим взглядом сквозь толстые линзы очков:

— Потому что этот ваш гладкий господин Вельяминов позавчера тоже плёл мне сказки про дрезденскую резьбу и любовь своего хозяина Блюма к старинной мебели. А сам, пока грузчики отвязывали зеркало, дважды запускал пальцы под нижний край секретера и под чернильницу — искал защёлку. Только Аркадий Соломонович был куда умнее этих господ. Мне он тайник не открыл, а вам, видать, как настоящему мастеру, дерево само поддалось. Ведь нашли что-то, Александр Павлович? Не грешите перед старухой, по глазам вижу, что нашли.

Верещагин медленно расстегнул пуговицу плаща, достал из внутреннего кармана свёрток и развернул промасленную холстину на краешке кухонной клеёнки.

При виде маленького латунного цилиндра с косыми зубцами и вырезанной штихелем цифрой «№ 7» Вера Марковна побелела и мелко перекрестилась, хоть и носила фамилию Штерн.

— Господи праведный... — прошептала она, отодвигая от края стола чашку, словно кусок металла мог обжечь фарфор. — Значит, остался внутри. Пережил и Аркадия Соломоновича, и обыск шестьдесят восьмого года...

— Что это за устройство, Вера Марковна?

— Фонограф Гринберга. Или «памятник», как в шутку называла его Лида в первые годы после войны, пока им ещё бывало до шуток, — глухо заговорила старушка. — Аркадий Соломонович ещё до войны с какими-то старыми физиками из Политехнического института изучал акустику дерева и костную проводимость звука. Он объяснял моей маме, что обычная патефонная мембрана или магнитофонная лента записывают только мёртвое колебание воздуха, поэтому голос на пластинке всегда плоский и чужой. А внутри этого немецкого секретера была старинная дека из резонансной карпатской ели. Аркадий Соломонович вмонтировал туда под чернильницу какой-то хитрый часовой механизм со струнами и кристаллом кварца, а валики точил из своего особого сплава. Когда человек клал ладони прямо на деревянную доску бюро и пускал валик, вибрация шла через кожу и кости рук прямо в слуховой нерв.

Она замолчала, зябко кутая плечи в серый пуховый платок.

— В шестидесятом году, — продолжила она тише, — мой младший брат Юрка, тринадцатилетний дурачок, воспользовался тем, что Гринберги ушли в филармонию и забыли запереть комнату на ключ. Залез к ним, нашёл в ящике стола заводной ключ и один такой валик с номером, вставил в гнездо под чернильницей и положил руки на дерево, как подсмотрел однажды в щёлку за самим Аркадием Соломоновичем. Мы с мамой прибежали из кухни на страшный крик: Юрка валялся на паркете без памяти, руки ледяные как у покойника, а когда очнулся — три недели заикался и каждую ночь захлёбывался слезами. Твердил одно и то же: «Верка, я не звук слышал, я сам стоял внутри чужой тёмной комнаты, задыхался от керосинового чада и видел человека, который плакал над бумагой!». Врачи в поликлинике списали на подростковую эпилепсию, а Аркадий Соломонович в тот же вечер снял пусковую скобу и замуровал валики так, что больше их никто в глаза не видел.

— Сегодня утром, когда я открыл паз в цоколе, — медленно произнёс Верещагин, — мне почудился женский голос. Он сказал: «Не открывай, пока не стемнеет».

Губы Веры Марковны дрогнули.

— Дерево отозвалось, когда вы стронули пружину... Это не Лидин голос, Александр Павлович. У Лиды был грудной, низкий контральто. А эту фразу — «не открывай окно и ставни, пока на улице совсем не стемнеет» — всю жизнь после сорок второго года твердила старая Анна Михайловна. У неё после блокадных артобстрелов и строгих правил светомаскировки до последнего часа остался страх перед открытым светом. Выходит, на этом седьмом валике Аркадий записал саму Анну Михайловну.

— А почему вы упомянули обыск в шестьдесят восьмом году? Что тогда произошло с семьёй Гринбергов?

Вера Марковна сняла с плиты закипевший чайник, но заваривать чай сразу не стала — долго стояла у окна, глядя в мокрый простенок двора.

— Над ними все послевоенные годы висела какая-то страшная, немая беда, о которой в квартире вслух не говорили, — сказала она наконец, оборачиваясь к реставратору. — Сначала, в сорок шестом и сорок седьмом годах, когда Лида вернулась с фронта, они жили так счастливо, что на них смотреть было радостно. В июле сорок седьмого у них родился сынок — Маркуша. Беленький, тихий мальчик с огромными мамиными глазами. А в ноябре сорок девятого года, когда по всему Ленинграду по ночам шёл воронок за воронком по «ленинградскому делу»,

к Аркадию Соломоновичу приехал ночью человек в кожаном пальто на казённой «Победе». Заперлись они в угловой комнате на два часа. Наутро Аркадий Соломонович вышел на кухню чёрный как земля, Лида неделю лежала пластом, отвернувшись к стене, а детская кроватка опустела. Нам с мамой сказали, что у мальчика нашли открытую форму костного туберкулёза, в двадцать четыре часа отправили по спецпутёвке в закрытый южный санаторий и там он в дороге не выжил.

— Вы не поверили?

— Сначала поверили и плакали вместе с ними. А летом пятьдесят второго года я ехала из института на трамвае мимо Таврического сада. Смотрю в окно — а по боковой дорожке вдоль решетки идёт наша Лида в скромном тёмном платьице с белым воротничком и ведёт за руку мальчика лет пяти в нарядной матроске. И мальчик этот — вылитый Аркадий Соломонович и сама Лида в детстве, те же светлые глаза с прищуром, тот же упрямый подбородок! А в десяти шагах позади них медленно катит вдоль тротуара чёрная «Победа» с шофёром в фуражке. Я тогда вечером спросила маму шёпотом на кухне, а мама зажала мне рот ладонью и велела забыть навсегда: Лида три раза в неделю ходила приходящей няней и экономкой в семью какого-то большого полковника из управления на Литейном.

У Верещагина внутри словно щёлкнула и встала на место тяжёлая стальная шестерня.

— Полковника случайно звали не Блюм? — тихо спросил он.

Старушка изумлённо вскинула голову:

— Откуда вы знаете?.. Я ведь эту фамилию услышала впервые только на прошлой неделе от Вельяминова, когда он оформлял покупку секретера для Марка Соломоновича Блюма! Постойте... Александр Павлович, вы хотите сказать, что нынешний хозяин этого «Северного Ковчега» по имени Марк...

— Пока ничего не хочу утверждать наверняка, Вера Марковна. Договорите, что случилось в марте шестьдесят восьмого.

— В марте шестьдесят восьмого всё и оборвалось, — она тяжело опустилась на стул. — Двадцатого марта вечером Аркадий Соломонович с Лидой долго шептались у себя за дверью, жгли какие-то бумаги в печке, а утром двадцать первого марта Лида вышла в коридор в сером пальто с одной маленькой дорожной сумочкой. Обняла мою маму в прихожей — руки ледяные, губы как мел — и сказала, что едет на несколько дней в Москву проведать тётку. А ровно через сутки, в девять утра двадцать второго марта, в нашу квартиру позвонили трое в штатском с понятыми и ордером на обыск комнаты Гринберга. Искали звуковые валики, схемы и какие-то записи. Аркадий Соломонович не пускал их к секретеру, заслонил его собой, вдруг страшно захрипел, схватился за левое плечо и упал лицом на паркет. Когда приехала «скорая», он был уже мёртв — разрыв аорты или обширный инфаркт. Комнату их опечатали сургучом, валики из ящиков стола и какие-то общие тетради увезли в мешке, а Лида из Москвы так никогда и не вернулась. Даже на похороны мужа не приехала — как в воду канула.

Вера Марковна посмотрела на латунный валик «№ 7», лежавший на клеёнке, и тихо добавила:

— Будьте предельно осторожны с этими людьми, Александр Павлович. Я не знаю, что знал нынешний Блюм про своего отца и про Аркадия Соломоновича, но люди, которые в шестьдесят восьмом году перевернули вверх дном эту квартиру, довели мастера до гроба за полчаса. Забирайте валик и никому из «Ковчега» не показывайте, пока сами не разберётесь.

Выйдя из парадной в сырой каменный колодец двора, Верещагин постоял минуту под моросящим небом, переводя дыхание, а затем достал телефон и нашёл в записной книжке номер Полины Ковалёвой — молодой сотрудницы Центрального государственного архива на Таврической улице, для которой два года назад клеил и выправлял дубовые ящики старинной сенатской картотеки.

— Полина? Добрый день, это Верещагин Александр Павлович. Простите, что отрываю от дел. Мне очень нужна ваша профессиональная помощь — неофициально, по старой дружбе. Сможете проверить по вашим адресным фондам и передаточным описям спецхрана две фамилии? Первая — Гринберг Аркадий Соломонович, тысяча девятьсот пятнадцатого года рождения, часовщик и механик с улицы Ленина, умер двадцать второго марта шестьдесят восьмого года. И вторая — Блюм, предположительно полковник ведомства на Литейном в сороковые–шестидесятые годы. Нет, Полина, это не для книги. Кажется, мне вчера привезли на реставрацию предмет, за который в шестьдесят восьмом году заплатили человеческой жизнью.

Сумерки опустились на Петроградскую сторону рано — густые, синие, пахнущие мокрым чугуном оград, дымом и близкой невской водой.

Домой на третий этаж Александр Павлович подниматься не стал. Вернувшись в мастерскую, он запер уличную дверь на тяжёлый внутренний засов, проверил крючок на ставне единственного окна во двор и задёрнул плотную холщовую штору. Включать верхние люминесцентные плафоны почему-то не хотелось — их мёртвый, гудящий белый свет казался здесь сейчас неуместным, почти кощунственным.

Вместо этого он зажёг на краю верстака толстую свечу из неотбеленного пчелиного воска в низком медном шандале — такие он всегда держал под рукой, когда требовалось разогреть шеллачную палочку для заделки глубоких трещин или проверить на отсвет качество ручной полировки.

Живой, чуть подрагивающий язычок пламени выхватил из полумрака точёные колонки дрезденского секретера и отбросил на кирпичный свод длинные зыбкие тени. Флюшка, дремавшая в плетёной корзинке у тёплой печной трубы, подняла голову, внимательно посмотрела на свечу, потом на хозяина и бесшумно ушла в самый дальний угол за стеллажи с досками — словно заранее снимала с себя всякую ответственность за то, что сейчас произойдёт.

— Не нагнетай, — тихо буркнул ей вслед Верещагин. — Я просто проверю механику.

Он откинул письменную доску секретера, надел роговые очки и вооружился узким стоматологическим зеркальцем на длинной стальной ручке и направленным лучом маленького фонарика.

Утром он осматривал бюро как краснодеревщик, ищущий столярный тайник. Теперь же, после рассказа Веры Марковны, он смотрел на него глазами механика.

Он вынул белый фарфоровый стаканчик из круглого чернильного гнезда справа. На первый взгляд под ним было обычное глухое донце, подбитое зелёным сукном. Но когда Александр Павлович подцепил пинцетом край суконного кружка, ткань легко снялась вместе с тонкой латунной шайбой, открыв под собой удивительную картину.

В глубине корпуса, прямо под чернильницей, скрывалось точёное бронзовое шасси, врезанное в массив с точностью швейцарского хронометра. Сбоку темнела поворотная кулиса. Верещагин сдвинул её кончиком отвёртки влево — и перед ним открылась цилиндрическая втулка с косыми ведущими шлицами, в точности соответствующими зубчатым ободкам на краях валика «№ 7». Над втулкой на тончайшем стальном подвесе покоилось коромысло с крошечной, прозрачной как слеза сапфировой иглой. А от пятки коромысла вглубь секретера, сквозь прорези во внутренней переборке, уходили две витые серебряные струны, натянутые над скрытой резонаторной декой из старой мелкослойной карпатской ели.

Никакого внешнего рупора или граммофонной трубы у аппарата не было. Весь корпус столетнего немецкого секретера — его сухие махагониевые боковины, еловая дека и откидная письменная доска — представлял собой единый замкнутый акустический резонатор, рассчитанный так, чтобы отдавать вибрацию иглы непосредственно в древесину под руками сидящего за бюро человека.

— Ну и голова же у тебя была, Аркадий Соломонович, — с невольным ремесленным благоговением прошептал Верещагин.

Он достал из кармана валик «№ 7», осторожно сдул с микронной спирали невидимую пылинку и ввёл цилиндр в гнездо до мягкого, маслянистого щелчка концевого фиксатора.

Секретер молчал. Пружинный барабан внутри был заведён — это чувствовалось по упругому натягу шлицев, — но анкерный спуск удерживал валик на месте.

Александр Павлович вспомнил слова старушки Штерн о том, как её брат Юрка подсмотрел за работой часовщика. Пусковой контакт должен был срабатывать от веса рук на рабочей поверхности. Верещагин выключил карманный фонарик, оставив гореть одну лишь свечу на верстаке, придвинул табурет, положил обе раскрытые ладони на полированную откидную доску по бокам от чернильного гнезда и чуть сильнее прижал большие пальцы к медному ободку.

Под большими пальцами подалась вниз на долю миллиметра скрытая кольцевая педалька.

Внутри секретера тихо, мелодично пропела освобождённая серебряная струна. Скрытый в глубине часовой маховик с воздушным ветряком плавно набрал обороты — совершенно беззвучно для уха, но в ту же секунду под подушечками пальцев и ладонями Верещагина побежала частая, плотная, пробирающая сквозь кожу, запястья и локтевые кости до самого основания черепа вибрация.

Пламя восковой свечи на шандале вдруг вытянулось в тонкую голубую иглу и погасло — словно кто-то не задул его, а медленно вывернул фитиль изнутри.

И темнота вокруг сжалась.

Это не было ни сном, ни оптическим видением перед закрытыми глазами. Кирпичные стены мастерской словно сдвинулись вплотную, обступив его со всех сторон ледяным, вымерзшим пространством высокой угловой комнаты. Вибрация сухого дерева, идущая по костям рук прямо в височные доли и слуховую кору, восстанавливала из микронной нарезки латуни не только звуковую волну, но и всё физическое поле того мгновения, когда звук впечатывался в металл.

Верещагин задохнулся от внезапного, режущего горло холода — в комнате было никак не выше минус десяти градусов. Изо рта шёл густой пар, а в неподвижном воздухе стоял тяжёлый, непередаваемый запах февральского блокадного жилья: едкая гарь солярки из самодельной коптилки, дух прелого овчинного тулупа, горький хвойный отвар в кастрюльке и слабый, ацетоновый запах крайнего человеческого истощения.

Высокие венецианские окна были наглухо зарبрикадированы ватными одеялами и заклеены крест-накрест полосками старых газет. На круглом столе в щербатом фаянсовом блюдце трещал и плевался синей копотью скрученный из бинта фитилёк.

А внизу, в углу слева от секретера, стояла на коленях на голом обледеневшем паркете женщина. На ней было старое зимнее пальто с облезлым каракулевым воротником, подпоясанное верёвкой, и тёмный платок, из-под которого глядело восковое, обтянутое пергаментной кожей лицо с огромными, воспалёнными глазами. Широкая дубовая планка плинтуса у стены была отжата ломиком, и распухшие, почерневшие от обморожения и цинги пальцы женщины с мучительным трудом проталкивали в кирпичный продух плоскую жестяную коробку из-под леденцов с двуглавым орлом на крышке.

Рядом, в полушаге от самого Верещагина, склонившись над открытым секретером, стоял худой сутулый мужчина лет двадцати семи в очках с перевязанной суровой ниткой дужкой и в армейском полушубке поверх ватника — молодой Аркадий Гринберг. Его посиневшие от стужи, но удивительно точные пальцы бережно придерживали тормозной рычажок механизма, чтобы загустевшее на морозе масло не сбивало шаг сапфирового резца.

— Говорите, Анна Михайловна, не бойтесь, — глухо, сквозь кашель произнёс молодой голос часовщика, и Верещагин ощутил этот голос собственной грудной клеткой. — Резец идёт ровно, латунь мягкая. Лидочка вернётся и услышит вас так, будто вы стоите рядом.

Женщина у плинтуса прижала обескровленные ладони к груди, переводя короткое, свистящее дыхание, и заговорила — торопливо, горячо, глядя снизу вверх прямо в тёмное зеркало секретера, туда, где сейчас стоял сам Александр Павлович:

— Лидочка, девочка моя бесценная... Если ты вернёшься с войны и включишь Аркашин аппарат — не пугайся и не плачь. Аркадий вчера принёс нам со своей службы в Большом доме пайкового шпика и сухих ящиков на растопку, он меня спас на этой неделе, но если моё сердце всё-таки не дотянет до ледохода — знай, что я уходила без боли. Тут не страшно, родная моя, тут просто очень холодно к утру. В жестяной коробке за дубовым плинтусом я спрятала наши метрики, бабушкины гранатовые серёжки и моё письмо тебе. Прочти его, только когда останешься в комнате совсем одна, без чужих глаз. Я знаю, ты обязательно вернёшься, ты у меня счастливая. Береги Аркадия, слушайся его во всём... и не открывай ставни, пока совсем не стемнеет.

Внутри корпуса сухо, отчётливо щёлкнул концевой стопор. Серебряная струна издала последний тонкий, замирающий вздох и смолкла.

Ледяная комната сорок второго года схлопнулась, как закрытая книга.

Александр Павлович с хриплым вздохом рухнул с табурета на оба колена прямо на дощатый пол мастерской, всё ещё судорожно цепляясь побелевшими, потерявшими чувствительность пальцами за край откидной доски секретера. В темноте тонко пахло горячим пчелиным воском и сизым дымком только что погасшего фитиля.

Кисти рук до самых локтей ломило так, словно он действительно десять минут продержал их в ледяной невской проруби. Верещагин с трудом разжал сведённые пальцы, сел на пол, привалившись спиной к дубовой ножке верстака, и несколько минут просто тяжело дышал, глядя в темноту и дожидаясь, пока перестанет колотиться где-то у самого горла сердце.

Из-за стеллажей бесшумно вышла Флюшка. На этот раз она не стала держаться в стороне — подошла вплотную, ткнулась холодным мокрым носом в его ледяную ладонь и вдруг улеглась прямо на его скрещённые ноги, прижавшись всем своим тёплым, живым кошачьим телом и заведя низкое, вибрирующее мурлыканье.

— Видала, старая? — шёпотом спросил Александр Павлович, гладя непослушными пальцами её жёсткую полосатую спину. — А я ведь думал — давление... Это была Анна Михайловна Левитина. Февраль сорок второго года. Значит, она всё-таки выжила в ту зиму благодаря Аркадию, дотянула до мая сорок шестого, но коробку из-за плинтуса так и не достала — берегла для дочери.

Когда он наконец поднялся с пола и зажёг верхний свет, настенные ходики показывали четверть одиннадцатого.

Верещагин поставил чайник, чтобы согреть руки о горячую кружку, и в эту самую минуту на верстаке рядом с шандалом зажужжал мобильный телефон. Звонила Полина Ковалёва.

— Александр Павлович? — голос архивистки в трубке был тихим и каким-то оглядывающимся, будто она говорила из коридора хранилища. — Простите, что так поздно, но я задержалась после смены у коллег в спецхране на Литейном и подняла учётные карточки по вашим фамилиям. Вы сидите?

— Сижу, Полина. Говорите.

— Часовщик Гринберг Аркадий Соломонович действительно с января сорок второго по март шестьдесят восьмого года числился вольнонаёмным спецмастером при четвёртом научно-техническом отделе управления МГБ, а затем КГБ по Ленинградской области. Занимался конструированием и ремонтом закрытых механических систем звукозаписи. А его бессменным куратором, чья подпись стоит на всех пропусках и характеристиках Гринберга за двадцать шесть лет, был заместитель начальника отдела полковник Блюм Соломон Моисеевич!

Верещагин закрыл глаза. Отчество нынешнего хозяина «Северного Ковчега» — Марк Соломонович Блюм — окончательно встало на своё место.

— А что случилось с самим полковником Блюмом, Полина?

— Вот тут самое странное, Александр Павлович! Полковник Соломон Моисеевич Блюм скончался в Свердловской больнице двадцать шестого апреля тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года от повторного инфаркта — ровно через месяц после того, как во время обыска на улице Ленина умер его подшефный часовщик Гринберг! Причём в карточке Гринберга стоит отметка об изъятии спецтехники и личных бумаг, но часть описей ушла в другие фонды, мне чтобы их найти, понадобится ещё день-два. Александр Павлович, ради бога, скажите честно: у вас в мастерской находится аппарат из этого дела?

— Пока только дерево от него, Полина, — тихо ответил Верещагин, глядя на открытый секретер. — Спасибо вам огромное. Если раскопаете номера актов изъятия за шестьдесят восьмой год — сразу дайте мне знать.

После звонка Полины он долго не мог заставить себя подняться наверх в спальню. Набросил на плечи старую телогрейку, сидел за верстаком с остывшим чаем и смотрел на латунный валик «№ 7», лежавший на сукне. Если Аркадий Гринберг поставил на этот цилиндр седьмой номер, значит, до него существовали ещё как минимум шесть. И если он спрятал в секретере один, то где гарантия, что в старом дереве нет второго?

Ровно в половине второго ночи тишину мастерской разорвал резкий звонок телефона. На экране высветился прямой номер Игоря Вельяминова.

Александр Павлович выждал три гудка и нажал кнопку:

— Слушаю вас.

— Надеюсь, не помешал вашему отдыху, Александр Павлович? — голос управляющего «Северного Ковчега» в ночной тишине утратил всякую дневную бархатность и звучал сухо, отчётливо и холодно, как стальная линейка. — Вы ведь не спите, я полагаю?

— Допустим, не сплю. В чём дело, Игорь?

— Дело в том, что сегодня в девять часов вечера мне на рабочий телефон позвонила старушка Вера Марковна Штерн с улицы Ленина. Старушка была весьма взволнована. Стала стыдить меня за то, что мы якобы утаили от неё ценность секретера, и проговорилась, что днём к ней приходил реставратор Верещагин, который нашёл внутри бюро латунный валик часовщика Гринберга и подробно расспрашивал о семье бывших жильцов и полковнике Блюме.

Верещагин молча смотрел на тёмное стекло окна, по которому ползла редкая ночная капля. Бедная Вера Марковна — хотела заступиться за память соседей, а сама невольно сдала его с потрохами.

— Вы ведь понимаете, Александр Павлович, что играть со мной в прятки дальше бессмысленно, — спокойно продолжил Вельяминов. — Валик у вас. Возможно, не один. Я человек практический и не люблю лишнего шума, поэтому предлагаю закрыть это недоразумение полюбовно. Завтра ровно в двенадцать дня я заезжаю к вам в мастерскую. Вы передаёте мне

всё, что нашли в секретере и в квартире на улице Ленина, я выплачиваю вам наличными тройную стоимость реставрации вперёд, и мы расстаёмся добрыми друзьями.

— А если я считаю, что предсмертная запись старой учительницы для её дочери не входит в стоимость антикварного гарнитура? — негромко спросил Верещагин.

В трубке повисла короткая, звонкая пауза.

— Тогда мне придётся напомнить вам о реальности, в которой мы живём, Александр Павлович, — тон управляющего стал почти сочувственным. — У вас чудесная старая мастерская на Петроградской стороне, муниципальная аренда от КУГИ, которую вам нужно продлевать после Нового года, деревянные перекрытия, десятки литров легковоспламеняющихся лаков и растворителей под жилыми квартирами... Достаточно одного звонка в госпожнадзор и районную администрацию, чтобы послезавтра ваши верстаки опечатали, а вас самого выставили на улицу с волчьим билетом во всех антикварных салонах города. И ещё одно: ваша дочь Анна Александровна Верещагина ведь работает врачом-кардиологом в двадцать шестой городской больнице на улице Костюшко? У неё прекрасная репутация, больные её любят. Подумайте сами, стоит ли кусок старой чужой латуни того, чтобы у вашей дочери начались внезапные проверки прокуратуры по историям болезни? До завтрашнего полудня у вас есть десять часов, чтобы принять единственно верное решение. Спокойной ночи, Александр Павлович.

Связь оборвалась коротким гудком.

Верещагин медленно положил телефон на край верстака. Странное дело: страх, который ещё минуту назад холодил грудь, от слов о дочери и мастерской вдруг испарился без следа, сменившись тяжёлой, спокойной и очень холодной яростью. Господин Вельяминов привык иметь дело с запуганными оценщиками и податливыми перекупщиками — он не знал, какими упрямыми бывают старые ленинградские мастера, когда кто-то пытается брать их на испуг в их собственном доме.

Александр Павлович подошёл к инструментальному шкафу, достал сильную налобную лупу, узкое шило и набор тонких столярных стамесок. До утра оставалось ещё пять часов — вполне достаточно, чтобы обыскать дрезденский секретер до последнего шипа прежде, чем идти на улицу Ленина вскрывать замурованный за плинтусом тайник сорок второго года.

Глава 2

Глава 2. Дом на Петроградской

До рассвета оставалось больше четырёх часов, и эти часы Александр Павлович провёл с часовой отвёрткой и шилом в руках.

Искать второй тайник наугад было пустой тратой времени. За полночь, когда гул редких машин на Малом проспекте совсем стих и в полуподвале осталось только мерное капанье воды в чугунную раковину да сухой треск остывающей плитки, Верещагин заставил себя рассуждать не как столяр, а как механик.

Первую схоронку в нижнем цоколе Аркадий Гринберг сделал по столярным правилам — врезал заподлицо клин-засов в массив махагони. Но часовщик, привыкший иметь дело с обысками и чужими цепкими глазами, прекрасно понимал: если оперативники нащупают паз в правой ножке, они первым делом вывернут наизнанку весь нижний обклад и простучат молотками дно тумбы. Значит, второй цилиндр — если он вообще существовал в этом бюро — следовало искать там, где металл и пустота присутствуют открыто, на самом виду, не вызывая ни малейших подозрений.

Верещагин надел бинокулярную лупу, взял переносной светильник на длинном шнуре и занялся верхним ярусом секретера.

Откидная письменная доска удерживалась в горизонтальном положении двумя массивными латунными кулисами — плоскими изогнутыми рычагами, которые при закрывании крышки плавно уходили в узкие прорези по бокам центральной ниши. Александр Павлович посветил в левую прорезь, затем в правую.

В правой прорези стальной стопорный винт, ограничивающий ход кулисы, сидел на полтора миллиметра глубже, чем слева, а шлиц на его полукруглой шляпке был едва заметно сорван — не заводской отвёрткой девятнадцатого века, а более тонким, закалённым жалом.

Верещагин ввёл отвёртку в щель и попробовал стронуть винт против часовой стрелки. Шляпка не выкручивалась — она вращалась вхолостую, но при каждом полуобороте внутри переборки, отделявшей прорезь кулисы от малых почтовых ящичков, ощущалось лёгкое упругое сопротивление червячной резьбы. На четвёртом обороте внутри глухо щёлкнул палец фиксатора.

Задняя буковая стенка за центральной арочной нишей — та самая, которую утром Верещагин простукивал костяшкой пальца и принял за цельный щит, — чуть просела вниз и откинулась вперёд на скрытых нижних штифтах.

За ней не было пустоты, которая могла бы выдать себя звонким эхом при простукивании. Всё пространство между двойными стенками шириной в два пальца было плотно забито старым просаленным войлоком, гасившим любой звук, как сурдина в пианино. А посередине войлочной подушки, в круглой выемке, обтянутой выцветшим зелёным сукном от старого ломберного стола, тускло блестел второй латунный валик.

Александр Павлович вынул его пинцетом и поднёс к самой лампе.

Этот цилиндр отличался от седьмого. Латунь здесь была чуть темнее, с красноватым медным отливом, а спиральная звуковая дорожка шла не сплошной лентой от края до края, а делилась на две неравные части узким гладким пояском — словно запись останавливали, а потом дописывали в другое время и другим резцом. На правом торце неглубоким, торопливым штихелем была выведена цифра «№ 3».

Слушать его сейчас, в пятом часу утра, после бессонной ночи и полуторачасового телефонного разговора с Вельяминовым, Верещагин не решился. В висках и без того тяжело, вразнобой с ходиками постукивала кровь, а кончики пальцев левой руки всё ещё хранили фантомное колотьё после вечернего погружения в сорок второй год.

Он завернул оба валика — седьмой и третий — в вощёную бумагу, уложил их на дно старой жестяной банки из-под свинцового сурика, засыпал сверху до краёв сухой меловой пудрой и поставил банку в дальний угол сушильного чулана за штабелем дубовых досок, где в ряд стояли два десятка точно таких же ржавых жестянок с пигментами и квасцами. Даже если Вельяминов приведёт в полдень бригаду опытных ищеек, перетряхивать три пуда мела и охры в поисках куска латуни им придёт в голову в последнюю очередь.

В семь утра, выпив кружку крутого кипятка без заварки и сунув под язык таблетку от давления, Александр Павлович сложил в потёртый кожаный саквояж узкую стамеску, скальпель, фонарик и столярный молоток с кованым гвоздодёром.

Утро на Малом проспекте выдалось сизым, ветреным и промозглым. Дождь перестал, но с Малой Невки тянуло такой пронзительной сыростью, что редкие прохожие, спешившие к ранним трамваям, втягивали головы в воротники, а дворник в оранжевой безрукавке у ворот шестнадцатого дома угрюмо скреб метлой налипшую на асфальт чёрную листву.

На лестничную площадку третьего этажа на улице Ленина Верещагин поднялся в половине восьмого.

На этот раз Вера Марковна открыла не сразу. За обитой дерматином дверью долго стояла напряжённая тишина, затем сухо щёлкнул глазок, и голос старушки прозвучал через закрытую створку — глухо, враждебно и надтреснуто:

— Зачем вы опять пришли, Александр Павлович? Ещё восьми нет. У меня давление двести, я всю ночь из-за вас корвалол пила. Уходите, бога ради, ничего я вам больше не скажу.

— Вера Марковна, не держите меня на площадке, соседи услышат, — негромко, но твёрдо произнёс Верещагин, наклоняясь к самой замочной скважине. — Вельяминов звонил мне сегодня в половине второго ночи. Сказал, что вы вечером сами набрали его номер. Мне нужно забрать то, что Анна Михайловна оставила для дочери в угловой комнате, пока сюда не явились его люди.

За дверью послышался тяжёлый, прерывистый вздох. Звякнула щеколда, натянулась и упала цепочка.

Вера Марковна стояла на пороге в старом стеганом капоте поверх ночной сорочки, с седыми косичками, растрепавшимися вокруг маленького землистого лица. За сутки она словно усохла на полголовы; глаза за толстыми стёклами очков были красными и припухшими.

— Проходите скорей, — зашептала она, оглядываясь на пролёт лестницы и торопливо запирая за ним замок на оба оборота. — Ведь это я, старая дура, сама всё испортила! Вы вчера ушли, а меня к вечеру такая злость взяла за Лидочку и Аркадия Соломоновича. Думаю: дай позвоню этому Вельяминову, скажу ему в глаза, что грешно скупать чужое горе за тридцать сребреников, что старый мастер Верещагин уже нашёл в секретере запись Анны Михайловны и на чистую воду их выведет! А он выслушал меня ледяным голосом и говорит: «Благодарю за бдительность, Вера Марковна. Только учтите: если вы утаили от покупателя ещё какие-то части комплекта, наш юрист завтра же расторгнет сделку через суд и стребует с вас неустойку в двойном размере». У меня и ноги подкосились. Ведь я половину тех денег уже племяннице в Псков на операцию перевела! Чем я им отдавать буду — гробовыми со сберкнижки?!

Она схватила Верещагина за мокрый рукав плаща сухими, горячими пальцами:

— Александр Павлович, отдайте вы им этот проклятый валик! Покойников всё равно не воскресишь, Аркадий Соломонович сорок лет как на кладбище лежит, и Лидочки, верно, давно на свете нет, а нас с вами они со света сживут и не поморщатся!

— Валик я им пока не отдам, Вера Марковна, а вот вас они не тронут, — спокойно сказал Верещагин, снимая шляпу. — В расписке, которую вы им подписали, значится «секретер красного дерева в существующей сохранности, без претензий к комплектности»?

— Так точно и написано, я сама читала...

— Значит, пугает вас ваш Вельяминов на пустом месте. Никакой суд у старого человека деньги за старый шкаф не отберёт. А теперь ведите меня в угловую комнату. Вчера вечером я запустил седьмой валик. В феврале сорок второго года Анна Михайловна спрятала в вентиляционном продухе за плинтусом жестяную коробку для Лиды. Если мы оставим её здесь, а Вельяминов надумает прислать сюда своих молодцов под видом оценщиков — она попадёт в чужие руки.

Старушка мелко затрясла головой, но спорить не посмела — только махнула рукой в сторону высокой двери в конце коридора.

Угловая комната с двумя высокими венецианскими окнами, выходившими на перекрёсток улицы Ленина и Полозовой, в утреннем сером свете казалась просторной и холодной. На месте, где в сорок втором году стоял дрезденский секретер, на выцветших обоях в мелкую полоску выделялся тёмный невыгоревший прямоугольник, а на паркете виднелись четыре глубокие лунки от его точёных ножек.

Верещагин прошёл в левый угол у глухого простенка, опустился на корточки и поставил саквояж на пол.

Широкий, в добрую четверть аршина, профилированный дубовый плинтус тянулся вдоль стены сплошной лентой, покрашенной поверх старой олифы густой красно-коричневой половой краской. В самом углу, сантиметрах в сорока от оконного наличника, там, где в блокадном

видении стояла на коленях Анна Михайловна, верхняя кромка плинтуса отставала от штукатурки на толщину спички.

Александр Павлович включил узкий луч фонарика и провёл ногтем большого пальца по дубовой пласти.

Так и есть: доска была распилена наискось под сорок пять градусов ещё при постройке дома, чтобы закрывать ревизионное окошко старого стенного дымохода или душника. Но поверх распила в дерево были намертво вколочены два толстых кованых гвоздя с квадратными шляпками, утопленные заподлицо и замазанные старой суриковой замазкой под цвет краски.

— Кто и когда красил здесь плинтуса в последний раз, Вера Марковна? — не оборачиваясь, спросил Верещагин, выбирая из кожаного гнезда саквояжа узкую стамеску.

— Да мы с мамой в семьдесят первом году и красили, когда с комнаты Гринбергов казённые печати сняли и нам её по ордеру присоединили, — глухо ответила старушка от дверей. — А до того здесь в углу двадцать лет стоял тяжёлый дубовый гардероб Аркадия Соломоновича, этот угол вообще заставлен был наглухо.

Верещагин кончиком скальпеля аккуратно прорезал старую плёнку масляной краски вдоль косого стыка, чтобы при отжиме доска не потянула за собой штукатурку и обои, а затем лёгкими, выверенными движениями стамески начал выкрашивать окаменевшую за полвека замазку над шляпками гвоздей.

Сурик крошился неохотно, с сухим каменным скрипом. Когда наконец обнажились ржавые четырёхгранные головки, Александр Павлович подложил под пятку молотка обрубок буковой плашки из саквояжа, подцепил первую шляпку развилкой гвоздодёра и плавно налёг всем весом плеча.

Изнутри стены раздался протяжный, ржавый, похожий на старческий стон визг железа по сухому дереву и кирпичу. Длинный, в палец толщиной костыль со следами старой известки вышел наружу. За ним, осыпав на паркет горсть серой трухи, поддался и второй.

Верещагин ввёл плоское жало стамески в боковой распил и осторожно отжал дубовую панель на себя.

Из квадратного черного жерла в толще дореволюционной кладки пахнуло ледяным, неподвижным воздухом сорок второго года — сухой печной сажей, мышиным прахом и горькой махорочной пылью, которой в войну засыпали щели от сырости.

Александр Павлович посветил фонариком в глубину ниши. На третьем ряду неоштукатуренного красного кирпича, припорошенная седым налётом высолов, лежала плоская прямоугольная коробка, обёрнутая в почерневшую, местами истлевшую до ниток промасленную клеёнку.

Он вынул свёрток обеими руками и положил его на газету, расстеленную на круглом столе.

Клеёнка под пальцами рассыпалась сухими чешуйками, обнажив жестяную крышку коробки из-под леденцов товарищества «Георгъ Ландринъ» с полустёртым золотым тиснением. Края жести сцепились мелкой рыжей ржавчиной, но внутри, в сухой кирпичной стене за печным каналом, влага до бумаг не добралась.

Крышка поддалась с коротким жестяным щелчком, когда Верещагин провёл кончиком скальпеля по кромке.

Поверх пожелтевшего слоя слежавшейся аптечной ваты лежали перевязанные крест-накрест выцветшей георгиевской тесёмкой документы: метрическая выпись о крещении и браке Анны Михайловны, диплом об окончании Бестужевских курсов и свидетельство о рождении дочери Лидии Павловны Левитиной от четырнадцатого июня тысяча девятьсот двадцать второго года. Под бумагами в углублении ваты темнели две старинные серебряные серёжки с тёмно-красными, как запекшаяся вишня, гранёными камнями богемского пиропа в глухой оправе.

А на самом верху лежал двойной лист в косую линейку, вырванный из ученической тетради и сложенный уголком, как фронтовое письмо, только без почтовых штемпелей. Поперёк треугольника твёрдой, чуть угловатой рукой было выведено: «Лиде. В собственные руки».

Вера Марковна стояла за спиной реставратора, вцепившись обеими руками в спинку венского стула, и дышала часто, со свистом.

— Господи... — шептала она. — Серёжки Анны Михайловны... Я ведь помню их по сорок шестому году: она всё сокрушалась перед смертью, что в сорок втором выменяла их на Сенном рынке на кружку столярного клея, и просила у Лидочки прощения, что не сберегла бабушкину память! Забыла, бедная, в голодном беспамятстве, что сама же замуровала их в стену... Читайте, Александр Павлович. У меня глаза туманом заволокло.

Верещагин осторожно развернул хрупкие, ломкие на сгибах половинки тетрадного листа. Письмо было написано в два приёма: первая страница — густыми фиолетовыми чернилами, которые к середине текста бледнели оттого, что в замерзающую чернильницу подливали талую воду, а последние абзацы — простым графитным карандашом.

«19 февраля 1942 года. Ночь.

Лидочка, доченька моя родная. Если ты держишь в руках этот листок, значит, война кончилась, ты вернулась домой с фронта живой, а меня уже нет. Не плачь обо мне, девочка, ты же знаешь, я никогда не терпела лишней сырости.

Час назад Аркадий записал мой голос для тебя на седьмой латунный валик в нашем секретере. Я говорила в раструб бодрые слова, чтобы не огорчать его — он стоял рядом, держал пальцами замёрзший маховик и смотрел на меня такими преданными, измученными глазами, что у меня не повернулся язык сказать при нём то, о чём я обязана предупредить тебя наедине.

Аркадий спас мне жизнь этой зимой, Лида. Без его хлеба и пайкового сала я бы лежала на Серафимовском ещё в январе, рядом с твоим папой. Но цена, которую с него за это взяли, страшнее голодной смерти.

Три недели назад Аркадий привёз наш секретер обратно из мастерской на Литейном, куда забирал его в декабре якобы для сохранности. Привёз не один — с ним пришёл человек в кожаном пальто с ромбами в петлицах, старший майор госбезопасности Соломон Моисеевич Блюм. Аркадий ввёл его в нашу нетопленную комнату как благодетеля, суетливо вытирал рукавом стул, а Блюм положил на стол брусок казённого шпика и банку американской тушёнки — не как гость кладёт угощение, а как хозяин бросает кость борзой собаке, чтобы та не сдохла до конца охоты. Пока Аркадий в коридоре колол лучину для печурки, этот Блюм подошёл к моей кровати, посмотрел на меня пустыми рыбьими глазами и сказал тихо: „Ваш зять — самородок, Анна Михайловна. Его костный фонограф пишет человеческий голос так, что на валике слышна любая дрожь связок, любой скрытый умысел, а саму запись невозможно ни подделать, ни склеить ножницами, как плёнку. Пока Гринберг сидит тихо и точит валики для моих кабинетов, вы будете с хлебом, а ваша дочь Лидия Павловна не попадёт из санитарного поезда в штрафную роту за разговоры вашего покойного мужа в тридцать седьмом году. Но если зять вздумает проявить характер — пеняйте на себя“.

Лидочка, девочка моя, мне страшно за Аркадия. Он мягкий, бесконечно добрый человек, он не создан для железных клещей. Ему кажется, что он перехитрил дьявола — взял у Блюма паёк, спас тёщу, уберёг тебя на фронте, а сам останется чистым и будет просто чинить шестерёнки. Но вчера ночью я видела, как он приносил домой на перезаточку три использованных валика из управления. Руки у него тряслись так, что он уронил резец, а потом сидел у холодной печки и плакал без звука, зажав рот шапкой, чтобы я не услышала, какие голоса ему пришлось соструживать с этой латуни.

Блюм не отпустит его после войны, Лида. Такие люди не оставляют свидетелей своей кухни. Когда вернёшься и похоронишь меня — не устраивай сцен, не ходи в Большой дом и не упрекай Аркадия: он сломал себя ради нас с тобой. Но если вы хотите остаться людьми и вырастить детей — бегите из Ленинграда при первой же возможности, бросьте эту квартиру, сожгите чертежи и уезжайте хоть в Сибирь, хоть на край света, где вас не достанет рука Блюма.

Прощай, родная моя. Храни тебя Господь. Мама».

Александр Павлович замолчал и медленно положил тетрадный лист на клеёнку рядом с тусклыми гранатовыми серёжками.

В утренней тишине комнаты стало слышно, как за окном по улице Ленина с металлическим лязгом прошёл первый трамвай, и от его тяжёлой поступи едва слышно звякнула стеклянная дверца в старой ореховой горке.

— Значит, Анна Михайловна после той февральской ночи прожила ещё четыре года, — тихо проговорил Верещагин. — А коробку из стены так и не вынула. Почему?

— Потому что к сорок четвёртому году у неё после микроинсульта отнялись ноги, она дальше кровати не двигалась, а просить чужих людей или самого Аркадия Соломоновича достать письмо, где написано такое про его начальника, она не могла, — Вера Марковна тяжело опустилась на стул и вытерла глаза краем пухового платка. — А когда она умерла в мае сорок шестого, Аркадий Соломонович, видать, стал прибирать комнату к приезду Лиды, нашёл расшатанный плинтус, прочитал тёщино письмо... и понял, что если Лида прочтёт эту правду о том, какими валиками они оплатили мамин паёк, она не сможет с ним жить.

— Или пойдёт прямо к полковнику Блюму швырять ему в лицо фронтовые награды, — добавил Верещагин. — Поэтому он положил письмо и серёжки обратно в жестянку, намертво пришил дубовый плинтус коваными гвоздями, зашпатлевал суриком и придвинул сверху тяжёлый платяной шкаф. Решил понести этот крест один.

Он задумчиво посмотрел на пожелтевшие строчки, написанные графитным карандашом: «...если вы хотите остаться людьми и вырастить детей — бегите из Ленинграда...».

Они не убежали. Остались в Ленинграде, в июле сорок седьмого года у них родился сын Марк, а через два года, в ноябре сорок девятого, полковник Соломон Блюм явился в эту самую комнату уже не за валиками, а за их ребёнком.

— Вера Марковна, — сказал Александр Павлович, бережно укладывая метрики и серёжки обратно на ватную подушечку жестянки и закрывая крышку. — Коробку Анны Михайловны прятать в вашей квартире больше нельзя. И у меня в мастерской до полудня ей тоже не место. Я сейчас уберу письмо и жестянку в свой саквояж, а по дороге домой сдам на хранение человеку, до которого руки Вельяминова не дотянутся. А эту доску плинтуса я сейчас поставлю на место на старые гвозди и притру пылью так, что ни один эксперт не заметит вскрытия.

— Храни вас бог, Александр Павлович, — старушка поднялась, подошла к ореховой горке и достала из-за стекла небольшую фотографию на плотном тисненом картоне. — Возьмите тогда и эту карточку. Она у моей мамы в альбоме с сорок первого года лежала — Анна Михайловна сама подарила, когда мы въехали. Это май сорок первого года, Лидочка с матерью за месяц до войны, в день, когда они с Аркадием расписались в ЗАГСе. Посмотрите, какие у неё тут глаза — ещё ничего не знает, смеётся...

Верещагин взял снимок. Рядом с сухой, прямой дамой в глухом платье с камеей у ворота стояла девятнадцатилетняя девушка в светлой блузке с отложным воротничком и двумя тяжёлыми тёмными косами, перекинутыми через плечи. Глаза у девушки были светлые, широко посаженные, с чуть приподнятыми к вискам упрямыми бровями и такой безоглядной, чистой радостью во взгляде, что смотреть на эту карточку после чтения февральского письма сорок второго года было почти физически больно.

Когда через четверть часа Верещагин вышел из парадной четырнадцатого дома на улицу, первым делом он набрал номер Полины Ковалёвой в архиве на Таврической.

— Александр Павлович? — голос Полины в трубке звучал устало и совсем не так бодро, как вчера вечером. — Я с восьми утра сижу в подвале над описями ЗАГСа и спецхрана, как вы просили, но новости у меня пока неутешительные.

— Что случилось, Полина?

— Книги актов гражданского состояния по Петроградскому району за сорок седьмой и сорок девятый годы не выдают без официального запроса родственников или прокуратуры — там срок секретности по закрытым усыновлениям семьдесят пять лет, он ещё не истёк! Я попробовала подойти к нашей заведующей сектором учёта, сослалась на научную сверку по демографии района, а она посмотрела на меня поверх очков и говорит: «Ковалёва, вы почему

второй день подряд запрашиваете карточки, по которым неделю назад уже наводили справки люди из частного антикварного фонда?»

Верещагин остановился посреди тротуара на Большом проспекте.

— Значит, Вельяминов был там до нас.

— Был или платил кому-то из старых сотрудников, — глухо подтвердила Полина. — А по описям изъятия шестьдесят восьмого года из квартиры Гринберга ещё хуже: в нашем архиве на Таврической лежат только пустые обложки наблюдательных дел, а сами вещественные доказательства и рабочие тетради в восемьдесят девятом году при расформировании ведомственного архива распределили по каким-то музейным хранилищам города без единого реестра. Чтобы найти, в какой именно музей попали коробки Гринберга и Блюма, мне нужно поднять триста передаточных ведомостей вручную. До вечера я даже половины не осилю.

— Не торопитесь и не подставляйтесь под удар начальства, Полина, — твёрдо сказал Верещагин. — Книги ЗАГСа за сорок девятый год нам, возможно, сегодня и не понадобятся. Кажется, ответ на этот вопрос уже лежит у меня в мастерской на латунном валике номер три. Дождитесь вечера и никому не называйте мою фамилию.

Едва он отключил связь, как телефон в ладони завибрировал снова. Высветился номер Вельяминова.

— Доброе утро, Александр Павлович, — голос управляющего звучал ровно, почти буднично, без вчерашней ночной вкрадчивости. — Надеюсь, утренняя прогулка на улицу Ленина укрепила вашу решимость не делать глупостей?

— Вы приставили к моему подъезду соглядатаев, Игорь? — спокойно спросил Верещагин, сворачивая в проходной двор к Малому проспекту. — Мелко для дома с вашей репутацией.

— Обычная страховка инвестиций, Александр Павлович. Старушка Штерн — женщина нервная, мы опасались, что вы убедите её спрятать или уничтожить оставшиеся бумаги. Напоминаю: ровно в двенадцать часов я буду у вашей двери. Очень рассчитываю на ваше благоразумие.

За сорок минут до полудня Александр Павлович поднялся к себе в квартиру на третий этаж, спрятал саквояж с жестяной коробкой Анны Михайловны, серёжками и подлинником письма в верхнем отделении старого стенного шкафа за пальто покойной жены, а с письма снял чёткую фотографию на телефон.

Спустившись обратно в мастерскую, он не стал прятать следы работы — напротив, оставил откидную доску секретера открытой, положил рядом на верстак часовую лупу и пинцет, а в промасленную холстину от седьмого валика завернул точёную латунную гильзу от старинного пружинного доводчика, которую выбрал утром в ящике со скобяным ломом. Гильза имела точно такой же диаметр и вес, даже торцы её были сняты фаской на токарном станке, только поверхность металла оставалась девственно гладкой.

Ровно в двенадцать часов у тротуара за окном мелькнул тёмный капот внедорожника, и дверной колокольчик над косяком коротко звякнул.

Вельяминов вошёл первым. Следом за ним, пригнув голову под низкой кирпичной притолокой полуподвала, шагнул массивный короткостриженый мужчина лет тридцати пяти в расстёгнутой чёрной куртке, с тяжёлыми скулами и совершенно равнодушным, тусклым взглядом человека, привыкшего решать вопросы без прений. Не дожидаясь приглашения, второй гость защёлкнул английский замок входной двери изнутри и встал спиной к филёнке.

Флюшка, сидевшая на краю верстака, бесшумно перемахнула на верхнюю полку стеллажа под самый свод и оттуда уставилась на пришельцев немигающими янтарными глазами.

— Пунктуальность — вежливость королей и хороших ремесленников, — Вельяминов подошёл к верстаку, не снимая перчаток, и положил рядом с тисками пухлый белый конверт из плотной бумаги. — Здесь сто пятьдесят тысяч рублей наличными, Александр Павлович. Втрое больше нашей сметы по договору. Считайте это премией за срочность и неразглашение. Где то, что вы нашли в секретере и сегодня утром у Штерн?

Верещагин не удостоил конверт даже взглядом. Молча взял с угла стола свёрток из старой холстины и положил его перед управляющим.

Вельяминов быстрым, отработанным движением откинул края ткани, поднял латунный цилиндр двумя пальцами к свету лампы — и в мастерской повисла тяжёлая, нехорошая тишина.

Секунды три управляющий неподвижно смотрел на гладкую трубку от дверного доводчика, затем с сухим стуком уронил её на дубовую столешницу. В его лице не дрогнул ни один мускул, только побелели крылья тонкого породистого носа.

— Вы всё-таки решили поиграть со мной в бирюльки, Верещагин, — негромко, почти сочувственно произнёс он. — На валиках Гринберга две косозубые ведущие шестерни по торцам и звуковая нарезка с шагом в сорок микрон. Эту водопроводную болванку вы можете оставить себе на память. Кирилл, проверь ящики верстака и кладовку.

Плечистый мужчина у двери молча отлип от косяка и сделал шаг к середине комнаты.

Александр Павлович не сдвинулся с места, даже не отнял рук от карманов рабочего фартука.

— Остановите своего человека, Игорь, — ровным голосом сказал он. — Если ваш Кирилл сейчас тронет хотя бы одну стамеску на моём столе, вы не получите валиков никогда. Ни сегодня, ни через суд, ни после моей смерти.

Вельяминов чуть прищурился, но руку поднял — коротко, двумя пальцами остановив охранника в полутора шагах от верстака.

— Смелое заявление для человека в вашем положении, Александр Павлович. На чём оно основано?

— На том, что настоящих валиков в этом помещении нет, — спокойно ответил Верещагин. — Зато копия письма Анны Михайловны Левитиной от девятнадцатого февраля сорок второго года, где подробно описано, как старший майор госбезопасности Соломон Моисеевич Блюм шантажировал часовщика Аркадия Гринберга и его семью, уже находится у моей дочери и у моих знакомых в государственном архиве. И если к часу дня я не выйду на связь, эта бумага вместе с заявлением о ночных угрозах и вымогательстве ляжет на стол дежурного прокурора города.

Управляющий долго, неподвижно смотрел в глаза старому реставратору, словно взвешивая на невидимых аптекарских весах степень его блефа. Ни тени раскаяния или стыда на его холёном лице не появилось — там шла быстрая, холодная калькуляция делового человека, столкнувшегося с непредвиденным сопротивлением материала.

— Подожди в машине, Кирилл, — наконец сухо бросил он через плечо. — И двигатель не глуши.

Когда за охранником затворилась уличная дверь, Вельяминов неспешно придвинул к себе рабочий табурет, стряхнул с него ладонью невидимую пылинку, сел и закинул ногу на ногу.

— Допустим, вы перестраховались, Александр Павлович, — заговорил он уже совсем другим тоном — жёстким, прямым, без прежней светской шелухи. — И допустим, у вас на руках действительно два валика из тайников секретера и какое-то блокадное письмо старухи Левитиной. Чего вы добиваетесь? Хотите продать их напрямую Марку Соломоновичу через мою голову? Напрасный труд: ни один человек не войдёт в его квартиру на Каменноостровском без моей визы.

— Мне не нужны деньги вашего хозяина, Игорь. И ваш белый конверт вы сейчас заберёте обратно в карман, — отрезал Верещагин. — Я хочу знать правду: зачем вам и Марку Соломоновичу понадобились эти записи сорок лет спустя и почему вы боитесь, что я услышу то, что на них записано?

Вельяминов криво усмехнулся, достал из кармана плоский серебряный портсигар, повертел его в пальцах, но закуривать не стал:

— Вы рассуждаете как герой советского романа, Александр Павлович. «Правда», «память», «справедливость»... А в жизни всё гораздо прозаичнее и жестче. Марку Соломоновичу Блюму шестьдесят один год, но его лёгкие сгорели на восемьдесят процентов — идиопатический фиброз, он задыхается даже в покое и живёт только за счёт кислородного концентратора. Жены и прямых наследников у него нет. Зато есть антикварный дом «Северный Ковчег», три галереи на Невском и коллекция живописи и прикладного искусства стоимостью в полтора десятка миллионов долларов, которую мы с ним собирали двенадцать лет.

— И вы рассчитываете возглавить этот фонд после его смерти?

— Я не рассчитываю — я имею на это полное право по проекту завещания, потому что вложил в это дело половину своей жизни, — холодно подтвердил Вельяминов. — Но полтора года назад, когда болезнь приковала Марка Соломоновича к креслу, у него началась стариковская навязчивая идея. В шестьдесят восьмом году его отец, полковник Соломон Блюм, умирая

в больнице от инфаркта, оставил ему латунный валик с номером четыре и велел разыскать секретер часовщика Гринберга. Сорок лет Марк Соломонович старался не вспоминать об этом наследстве — он прекрасно знал, в каком ведомстве служил его отец, и всю жизнь панически боялся копаться в отцовском грязном белье. А теперь, перед концом, его прорвало. Он отказывается подписывать учредительные бумаги нашего фонда, пока я не найду секретер Гринберга и все уцелевшие валики.

— Вы ведь уже пробовали запустить четвёртый валик без секретера? — прищурился Верещагин.

Лицо управляющего помрачнело:

— Пробовали прошлой зимой. У Марка Соломоновича сохранился старый настольный привод из кабинета отца — коробка с часовым механизмом и стальной мембраной. Мы пригласили толкового инженера-акустика из бывшего закрытого НИИ. Но без деревянного резонатора внутри секретера игла пошла вразнос, сорвала первые витки нарезки и заклинила. За те восемь секунд, пока инженер держал ладонь на стальном корпусе привода, он услышал обрывок какого-то властного мужского голоса, а следом — страшный, захлёбывающийся женский шёпот о том, как делить сухую пайку хлеба нагретым ножом на семь частей, чтобы не умереть до воскресенья. Инженера увезли от нас с гипертоническим кризом и парезом левой кисти — так ударило по нервам. Да и меня самого, признаться, зацепило через край стола так, что я три ночи не мог закрыть глаза без снотворного.

— И поэтому вы хотели вынуть валики из секретера моими руками, отдать мне на откуп пустую мебель, а записи сначала отфильтровать сами? — спросил Верещагин.

— Именно поэтому! — жёстко ответил Вельяминов, поднимаясь с табурета. — Потому что если на тех валиках, что вы нашли в секретере, записаны протоколы пыток сорок девятого года или предсмертные проклятия людей, которых полковник Блюм отправил на тот свет, и Марк Соломонович услышит это в своём нынешнем состоянии — он умрёт от разрыва сердца прямо за этим столом, не подписав ни одной бумаги, или в припадке раскаяния отпишет всё своё состояние какому-нибудь обществу «Мемориал»! Теперь вам понятна моя арифметика, мастер?

Эта откровенная, циничная правда звучала куда убедительнее вчерашних разговоров о семейной памяти. Перед Верещагиным стоял не раскаявшийся грешник и не опереточный злодей, а хваткий, расчётливый хищник, защищающий свою долю наследства у постели умирающего старика.

— Ваша арифметика мне ясна, Игорь, — медленно проговорил Александр Павлович. — А теперь послушайте мою. В секретере было два валика: седьмой и третий. Седьмой я вчера проверил — там нет полковника Блюма, там голос умирающей от голода старой учительницы Анны Михайловны для её дочери Лиды. Третий валик я проверю сегодня вечером. Но ни вам в руки, ни вашим экспертам я его не отдам.

— Чего же вы хотите? — сузил глаза управляющий.

— Послезавтра в два часа дня вы привезёте Марка Соломоновича сюда, ко мне в мастерскую. Вместе с его врачом. Механизм в секретере я к тому времени вычищу и настрою так,

чтобы игла не рвала дорожку и не била по сосудам. И Марк Соломонович сам решит, какие валики он хочет слышать, а какие нет. Если вы попытаетесь до послезавтра надавить на больницу моей дочери или прислать сюда пожарных — письмо сорок второго года о делах семьи Блюм в тот же час уйдёт в печать и к юристам конкурентов, и тогда вы не увидите ни фонда, ни завещания. Вы меня услышали?

Вельяминов взял с верстака отвергнутый конверт с деньгами, неспешно убрал его во внутренний карман кашемирового пальто и застегнул пуговицу.

— У вас железная хватка, Александр Павлович. Зря вы всю жизнь просидели в подвале со стамеской — в большом бизнесе вы бы далеко пошли. Хорошо. Послезавтра в четырнадцать ноль-ноль я привезу Блюма сюда. Но имейте в виду: если во время вашего сеанса с ним случится удар, отвечать по статье о причинении смерти по неосторожности будете вы и ваша дочь-кардиолог.До послезавтра.

Аня приехала на Малый проспект в начале восьмого вечера — усталая после полутора суток дежурства в приёмном покое, в тёмно-синем шерстяном свитере под промокшим плащом, пропахшая больничным эфиром, крепким кофе и октябрьским ветром.

Пока она мыла руки под краном и грела ладони о чугунный бок печки-голландки, которую Верещагин с вечера жарко натопил берёзовыми чурками, Александр Павлович молча поставил перед ней на чистую салфетку кружку горячего бульона, экран телефона со снимком блокадного письма Анны Михайловны и вынутую из чулана жестянку с двумя валиками.

Аня читала письмо сорок второго года долго, не притрагиваясь к кружке. По мере того как её глаза бежали по выцветшим фиолетовым и карандашным строчкам, с её лица сходила больничная усталость, уступая место суровой, сосредоточенной собранности.

— Господи, какой мрак... — тихо сказала она, откладывая телефон. — «Как хозяин бросает кость борзой собаке»... Бедный Аркадий Соломонович. Спасти тёщу и жену такой ценой, а потом по ночам соструживать с латуни голоса приговорённых и плакать у печки, чтобы в соседней комнате не услышали. И ты говоришь, в ноябре сорок девятого года этот Блюм ещё и забрал у них двухлетнего сына?

— По словам Веры Марковны, мальчик исчез в одну ночь после приезда человека на казённой машине, а через три года она видела Лиду в Таврическом саду с пятилетним сыном полковника Блюма — мальчиком по имени Марк, — кивнул Верещагин. — И нынешнего хозяина «Северного Ковчега» зовут Марк Соломонович Блюм, он сорок седьмого года рождения.

Аня открыла кожаную врачебную сумку, достала механический тонометр с грушей, фонендоскоп и коробку с ампулами.

— Сначала я померю давление тебе, Шерлок Холмс, — тоном, не допускающим пререканий, заявила она, закатывая рукав отцовской фланелевой рубашки. — Сто пятьдесят на девяносто. Терпимо, но на грани. Слушай меня внимательно, пап: я не верю в мистику, но я хорошо знаю нейрофизиологию. То, что ты описал вчера — это прямое низкочастотное раздражение слухового и тройничного нервов через костную проводимость. У людей с возрастным атеросклерозом сосудов такой резонанс легко вызывает резкий ангиоспазм в вертебробазилярном бассейне. Именно поэтому тот инженер Вельяминова получил криз и парез руки.

Она придвинула второй высокий табурет вплотную к отцовскому, оставила манжету тонометра на его левом плече и положила свою узкую, тёплую и сильную ладонь на его левое запястье, прижав подушечки пальцев к лучевой артерии.

— Я держу твой пульс, — сказала она. — Если частота подскочит выше ста десяти или я увижу, что у тебя белеют пальцы и плывёт зрачок — я сдергиваю твою руку с доски секретера немедленно, на середине любого слова. Договорились?

— Договорились, дочка, — мягко ответил Александр Павлович.

Он зажёг восковую свечу в медном шандале, погасил верхнюю лампу над верстаком, чтобы резкий электрический свет не мешал сосредоточиться, и ввёл тёмно-медный валик «№ 3» в шлицы под чернильницей.

Сапфировая игла легла на первую, широкую часть спиральной дорожки до разделительного пояска. Верещагин положил правую ладонь на полированное махагони и чуть нажал большим пальцем на медный ободок.

Внутри корпуса глухо освободился анкерный спуск. Серебряные струны над еловой декой отозвались низким, густым гулом, и в ту же секунду под ладонью побежала знакомая, но куда более тяжёлая и жёсткая, чем вчера, вибрация.

Пламя свечи сплющилось и погасло.

На этот раз Верещагина не ударило морозом — наоборот, вокруг него сомкнулся душный, прокуренный до сизого тумана воздух большой комнаты, пахнущей мокрым хромовым сапогом, папиросами «Казбек», тройным одеколоном и остывшим на клеёнке чаем.

Это был не служебный кабинет в Большом доме — полковник Соломон Блюм был слишком осторожен, чтобы вести такие разговоры под казёнными потолками, где в каждой розетке могли стоять микрофоны его же коллег. Это была та самая угловая комната в квартире на улице Ленина поздней ноябрьской ночью тысяча девятьсот сорок девятого года.

Окна были плотно занавешены тёмными одеялами. У круглого стола, не снимая расстёгнутого кожаного пальто поверх кителя с погонами полковника госбезопасности, сидел грузный, широкоплечий человек лет сорока пяти с тяжёлой нижней челюстью, редкими светлыми волосами, зачёсанными на пробор, и холодными, усталыми глазами навыкате. На краю стола перед ним лежала раскрытая серая папка с подшитыми протоколами.

В углу за ширмой тихо посапывал во сне двухлетний ребёнок. А здесь, у откинутой доски секретера, стояли двое: тридцатичетырёхлетний Аркадий Гринберг в сбившихся набок очках, серый как пепел, и двадцатисемилетняя Лида в накинутом на ночную рубашку платке — совсем не похожая на ту смеющуюся девочку с майской фотографии сорок первого года. Она стояла, вцепившись обеими руками в край детской деревянной кроватки за ширмой, и смотрела на человека за столом сухими, безумными глазами волчицы, к логову которой подошли с ружьём.

А правая рука Аркадия лежала на краю секретера, намертво вдавив медное кольцо чернильницы, где под прикрытием фарфорового стаканчика бесшумно вращался третий валик.

— Вы напрасно смотрите на меня как на душегуба, Лидия Павловна, — негромко, сиплым от табака голосом говорил полковник Блюм, прикуривая новую папиросу от догоревшего окурка. — Я к вам приехал в три часа ночи без шофёра не для того, чтобы пугать. Я приехал спасать свои и ваши головы. Две недели назад в Москве расстреляли Кузнецова и Вознесенского, а вчера бригада следователей Абакумова арестовала начальника нашего четвёртого отдела. Завтра утром они поднимут картотеку спецмастерской. И что они там увидят, Аркадий?

Блюм ткнул дымящейся папиросой в серую папку на столе:

— Они увидят вольнонаёмного еврея Гринберга без партийного билета, через руки которого проходили секретные записи допросов партийной верхушки! Они увидят в его анкете родню, погибшую в минском гетто, и жену, у которой в сорок третьем году в санитарном поезде особисты изъяли дневник с разговорами арестованного хирурга! Чтобы меня самого завтра не поставили к стенке за то, что я держал вас в секретной лаборатории восемь лет, я обязан к девяти утра положить на стол комиссии ордер на ваш арест и ликвидацию точки.

— Так арестуйте меня одного, Соломон Моисеевич! — голос Аркадия сорвался на хриплый, задыхающийся крик, который тут же пришлось зажать кулаком, чтобы не разбудить ребёнка за ширмой. — Я подпишу любые показания, возьму всё на себя, скажу, что Лида ни о чём не знала! Оставьте жену и Маркушу!

— Кому ты будешь заливать про «не знала» в Лефортово, часовщик?! — с тяжёлой, будничной жестокостью оборвал его Блюм. — Жена пойдёт прицепом как ЧСИР в тот же день на восемь лет в Карлаг, а твоего двухлетнего пацана сдадут в спецприёмник МВД под номером вместо фамилии! Ты знаешь, сколько детей ленинградских секретарей мы на прошлой неделе отправили по детдомам за Урал без права переписки?

Лида сделала шаг из-за ширмы, заслоняя собой кроватку:

— Чего вы хотите от нас, Блюм? Говорите прямо, не тяните жилы!

Полковник тяжело посмотрел на неё снизу вверх, стряхнул пепел в блюдце и заговорил тише:

— Вы знаете, что моя Рахиль после контузии в сорок третьем потеряла нашего мальчика и тронулась рассудком от горя. Врачи говорят — если в доме не появится ребёнок, она наложит на себя руки до весны. А меня самого проверяющие из Москвы не тронут только в одном случае: если я докажу, что с семьёй механика Гринберга меня связывает не служебный сговор, а закрытая оперативная комбинация, а сам Гринберг полностью у меня в кулаке.

— Какая комбинация?.. — одними побелевшими губами прошептал Аркадий.

— Сегодня до утра вы оба подпишете бумаги об отказе от родительских прав, а главврач детской больницы на Земледельческой — мой человек — выпишет справку, что ваш сын Марк Аркадьевич Гринберг скончался в изоляторе от молниеносной формы менингита. А завтра же

через закрытый стол ЗАГСа я оформлю усыновление сироты из области на своё имя. Мальчик станет Марком Соломоновичем Блюмом. Эту серую папку я сожгу у себя в камине сегодня ночью. Вы оба останетесь на свободе, здесь, в своей комнате.

В душной комнате повисла такая страшная тишина, что Верещагин услышал, как за ширмой во сне тихонько чмокнул губами двухлетний ребёнок.

— Вы зверь... — глухо, без слёз выговорила Лида, медленно сползая спиной по деревянному косяку ширмы на пол. — Вы в сорок втором году дали моей маме кусок сала, а теперь пришли забрать за него моего живого сына?! Да лучше убейте нас всех троих прямо здесь!

— Убить вас недолго, Лидия Павловна, да только мальчишке вашему от этого легче в казённом бараке не станет, — в голосе Блюма не было ни торжества, ни жалости — одна лишь глухая, чугунная правота человека, привыкшего ломать чужие кости ради выживания. — Я ведь не зверь, я даю вам то, чего не дал бы никто другой. Я оформлю вас, Лидия Павловна, по документам приходящей домработницей и няней в нашу квартиру на Кировском проспекте. Будете приходить к мальчику через день, варить ему кашу, штопать рубашонки, водить за руку в Таврический сад. Он будет расти сытым, здоровым, в генеральской квартире, на ваших глазах! Одно условие: если хоть раз проговоритесь при нём или при Рахили, кто вы ему на самом деле — в двадцать четыре часа поедете этапом на Колыму, а мальчика я увезу в Москву, и вы никогда даже могилы его не найдёте. Решайте, Гринберг. Через два часа светает.

Аркадий стоял у секретера, страшно, беззвучно кривя рот, по его щекам под стёклами очков текли слёзы, капая прямо на зелёное сукно доски, а пальцы правой руки до синевы под ногтями вжимали в дерево медный ободок чернильницы, дописывая приговор собственному отцовству.

— Мы подпишем... — хрипло выдавил он из перехваченного горла. — Только не увозите его из Ленинграда, Соломон Моисеевич... Поклянитесь, что Лида сможет его видеть...

Сапфировая игла внутри секретера с сухим треском уткнулась в гладкий разделительный поясок на латуни — дальше ход пружины был заблокирован механическим зубом.

В ту же секунду чья-то сильная рука резко рванула правую кисть Верещагина вверх, отрывая его ладонь от полированной доски.

Ноябрьская комната сорок девятого года разлетелась вдребезги. Александр Павлович очнулся оттого, что задыхается с открытым ртом, а Аня стоит перед ним на коленях, одной рукой прижимая к его верхней губе сложенный бинт, а другой расстёгивая пуговицы его воротника.

На белом бинте расплывалось яркое алое пятно — из носа Верещагина от резкого скачка давления шла кровь.

— Всё, хватит! Запрокинь голову немного и дыши носом через холодную воду! — голос дочери звучал жёстко и властно, как в реанимационном зале. — Давление сто восемьдесят пять на сто десять! Ты у меня на глазах побелел как мел, правую руку свело судорогой так, что я еле пальцы твои от дерева отодрала, а из носа хлынуло! Ещё полминуты — и ты бы лежал тут с геморрагическим инсультом!

Она прижала к его переносице пузырь со льдом из маленького холодильника и насильно влила под язык дозу лекарства.

Через пять минут, когда кровотечение остановилось, а гул в затылке немного отступил, Александр Павлович скосил глаза на валик «№ 3» в гнезде под чернильницей.

— Аня... — глухо проговорил он, вытирая пальцы влажной салфеткой. — Игла прошла только три четверти цилиндра. До разделительного пояска. В самом конце валика осталась ещё одна узкая дорожка, через перемычку, куда резец не пускает предохранитель. Аркадий дописал туда что-то потом, отдельно...

— Даже не думай об этом сегодня! — отрезала Аня, с таким стуком захлопывая откидную крышку секретера и запирая её на ключ, что Флюшка на шкафу подпрыгнула. — Ключ от бюро до послезавтра будет лежать у меня в кармане. Но самое главное мы с тобой уже знаем, пап.

Она посмотрела на отца расширенными, потемневшими от пережитого потрясения глазами:

— Этот умирающий миллионер Марк Соломонович Блюм, за наследство которого так трясётся Вельяминов... Он вовсе не Блюм. Он тот самый двухлетний мальчик за ширмой — Марк Аркадьевич Гринберг, которого полковник в ноябре сорок девятого года живьём отобрал у часовщика и Лиды Левитиной.

Глава 3

Глава 3. Соломон Блюм

Утро началось с холодной резиновой манжеты, плотно перетянувшей левое предплечье Александра Павловича ещё до того, как он успел спустить ноги со старого кожаного дивана.

Ночевали они оба внизу, в мастерской: Аня наотрез отказалась отпускать отца наверх одного после вчерашнего скачка давления и устроилась на узкой раскладушке у тёплого бока печки-голландки, укрывшись его зимним пальто. Всю ночь сквозь неглубокую, тревожную дрёму Верещагин слышал, как за окном по булыжнику Малого проспекта с гулким рокотом проходят редкие ночные грузовики, как потрескивают остывающие кирпичи дымохода и как Флюшка, устроившаяся у Ани в ногах, время от времени встаёт, потягивается и обходит дозором дубовые козлы с запертым на ключ секретером.

— Сто тридцать пять на восемьдесят пять, — объявила Аня, стравливая воздух из груши тонометра и придирчиво заглядывая отцу в белки глаз. — Левый конъюнктивальный сосудик всё-таки лопнул, глаз красный, как у кролика. Значит, так: до завтрашнего приезда Блюма никакой мелкой работы с лупой, никаких наклонов головы вниз и уж тем более никаких попыток залезть в этот секретер без меня. Сейчас я сварю тебе геркулес на воде и кофе без кофеина, а потом поеду на четыре часа в отделение сдать истории болезни за смену и выписать отгул на завтра.

— Откуда у меня в мастерской кофе без кофеина? — хмуро поинтересовался Верещагин, нащупывая ногами стоптанные войлочные шлёпанцы.

— В круглосуточной аптеке на углу Большого проспекта нашёлся, я в семь утра сбегала, пока ты спал, — невозмутимо ответила дочь, ставя на чугунную конфорку медную турку, которую вчера отыскала на полке между банками с гуммиарабиком и шеллачной чешуёй. — А заодно купила капотена, глицина и две пачки свежих бинтов. Пап, давай посмотрим правде в глаза: у нас с тобой нет ни одного официального документа, подтверждающего то, что ты вчера услышал на третьем валике.

Александр Павлович подошёл к раковине, плеснул в лицо ледяной водой из-под крана и вытерся жёстким вафельным полотенцем. В голове после вчерашнего погружения стояла странная, гулкая ясность — словно старую оконную раму протёрли спиртом, убрав многолетнюю копоть.

— У нас есть сам третий валик, Аня. Голоса Аркадия Гринберга, Лиды и полковника Блюма в ноябрьскую ночь сорок девятого года не подделаешь ни на каком станке.

— Это для тебя они настоящие, потому что ты их пережил костями рук, — Аня разлила по кружкам горячий ячменный напиток, пахнущий жареным жёлудем и цикорием, и села напротив отца за край верстака. — А теперь поставь себя на место Вельяминова. Управляющий теряет пятнадцать миллионов долларов наследного фонда, если Марк Блюм узнает, что он не родной сын полковника, а украденный ребёнок репрессированного часовщика. Да Вельяминов привезёт завтра с собой двух юристов и частного психиатра, которые прямо с порога объявят, что старый реставратор Верещагин вместе с дочерью-врачом состряпали кустарную

запись, чтобы шантажировать умирающего старика! Ведь Полина вчера ясно сказала: актовые книги ЗАГСа за сорок девятый год засекречены на семьдесят пять лет, без запроса суда или прямого родственника нам даже ксерокопию не дадут.

Верещагин задумчиво помешал ложечкой в кружке. Дочь рассуждала трезво и жёстко, как на врачебном консилиуме.

— Архив ЗАГСа закрыт, — согласился он. — Но Вельяминов позавчера на улице Ленина и вчера здесь прокололся в одной важной мелочи. Помнишь, как он допытывался у старушки Штерн, не осталось ли у неё каких-нибудь старых бумаг или квитанций? И как вчера утром, узнав, что я выходил из её парадной с саквояжем, тут же примчался сюда с охранником и пачкой денег?

— Думаешь, он знал про тайник за дубовым плинтусом?

— Нет. Про плинтус не знал никто, кроме покойной Анны Михайловны и самого Аркадия. Но Вельяминов знал, что в архиве полковника Блюма чего-то не хватает, — Александр Павлович достал из кармана телефон и открыл переснятую страницу блокадного письма сорок второго года. — И ещё одно, Аня. Когда полковник Блюм в ноябре сорок девятого года говорил на запись о подложном свидетельстве о смерти двухлетнего Марка Гринберга, он назвал конкретное место: «Главврач детской больницы на Земледельческой — мой человек — выпишет справку, что ваш сын скончался в изоляторе от молниеносной формы менингита».

Аня замерла с кружкой на полпути ко рту. Глаза её сузились:

— Детская инфекционная больница № 3 на Земледельческой улице... Господи, пап, да ведь её старый больничный архив после реконструкции семидесятых годов ни в какой ЗАГС не передавали! Журналы приёмного покоя и книги патологоанатомических вскрытий послевоенных лет до сих пор лежат в их собственном подвальном архиве при морге, а заведует там патологоанатомическим отделением Илья Борисович Корф — однокурсник моего шефа по Первому меду!

Она одним глотком допила кружку, схватила с вешалки плащ и уже на ходу застёгивала пуговицы:

— В больничных книгах никакого грифа секретности МГБ нет и быть не может! Если в ноябре сорок девятого года главврач выписал липовую справку о смерти Марка Аркадьевича Гринберга без реального поступления ребёнка в стационар и без протокола вскрытия в прозекторской — это расхождение в двух шнуровых книгах видно любому врачу за пять минут! Я сдам дежурство на Костюшко и к часу дня буду на Земледельческой. А ты сиди здесь, запри дверь на засов и, если явится Вельяминов, разговаривай с ним только при включённом диктофоне!

Когда за дочерью захлопнулась дверь, Александр Павлович подошёл к окну и проследил, как её быстрая, лёгкая фигурка в тёмном плаще пересекла Малый проспект к остановке троллейбуса. На противоположной стороне улицы, метрах в тридцати от булочной, у водосточной трубы стоял неприметный серый «Логан» с тонированными задними стёклами. Из машины никто не вышел, но когда Аня свернула за угол, за лобовым стеклом качнулся огонёк сигареты.

Вельяминов не блефовал: за мастерской действительно присматривали.

Впрочем, сам управляющий появился не с утра, а ровно в половине третьего дня — и приехал не на внедорожнике с охранником Кириллом, а пришёл со стороны Большого проспекта пешком, один, с узкой кожаной папкой под мышкой.

Верещагин впустил его, но засов на двери оставлять открытым не стал, а сам вернулся за верстак, где на чистой ветоши лежали разобранные латунные ключевины от ящиков секретера и пузырёк с нашатырём. Нужно было показать гостю, что работа над деревом идёт своим чередом.

Вельяминов сегодня выглядел иначе. Безупречный серый костюм сидел на нём всё так же влитой, но под глазами набрякли тёмные землистые полукружья, а в движениях появилась резкая, сдерживаемая нервозность человека, на которого одновременно давят с двух сторон.

— Вы сегодня один, Александр Павлович? — спросил он, оглядывая пустую мастерскую и запертую крышку секретера.

— Дочь на службе в больнице. Проверяет, не начались ли у неё обещанные вами прокурорские ревизии, — сухо ответил Верещагин, протирая суконкой зелёный окисел на латунной накладке. — С чем пожаловали на этот раз, Игорь? До завтрашнего дня у нас с вами вроде бы перемирие.

Управляющий положил кожаную папку на край верстака и расстегнул молнию.

— Перемирие закончилось сегодня утром, когда Марк Соломонович потребовал к себе нотариуса, — глухо сказал Вельяминов. — Вы вчера не стали со мной торговаться, Верещагин, и я оценил вашу выдержку. Но сегодня я пришёл к вам уже не с пустыми угрозами и не со ста пятьюдесятью тысячами.

Он вынул из папки отпечатанный на плотной бумаге проект договора дарения с синей печатью риелторского агентства и подвинул его к реставратору:

— Читайте. Это документы о выкупе из муниципальной собственности в частное владение вашего полуподвала на Малом проспекте общей площадью восемьдесят четыре квадратных метра. Оформлено на ваше имя. Никакого КУГИ, никакой аренды и пожарных инспекторов — помещение переходит к вам и вашей дочери навсегда. Мне нужно от вас только одно: завтра, когда я привезу сюда Блюма, в секретере должен стоять только седьмой валик с голосом старой учительницы. Третий валик — если на нём есть хоть слово о полковнике Соломоне Блюме — вы передадите мне сегодня вечером.

Александр Павлович отложил латунную ключевину, снял рабочие очки и внимательно посмотрел на управляющего:

— Значит, вы всё-таки знаете, что на третьем валике запись сорок девятого года?

Вельяминов дёрнул щекой и отвернулся к забранному решёткой окну.

— Я не знаю дословно, что там записано, — сквозь зубы произнёс он. — Но неделю назад, перед тем как выкупить секретер у старухи Штерн, я заплатил хорошие деньги одному старому архивисту за выписку из закрытой картотеки ЗАГСа Петроградского района. В ноябре сорок девятого года полковник Блюм оформил закрытое усыновление двухлетнего сына часовщика Гринберга. Я скрыл эту справку от Марка Соломоновича. Сказал ему, что архивы за сорок девятый год сгорели.

В мастерской стало тихо — только Флюшка на подоконнике лениво переступила лапами.

— Вот оно что, — медленно проговорил Верещагин. — Значит, вы боитесь не того, что старика убьёт правда о жестокости его отца. Вы боитесь, что он узнает своё настоящее имя — Марк Аркадьевич Гринберг — и перепишет завещание в пользу родственников своей настоящей матери Лидии Павловны!

— Каких родственников, Верещагин?! — Вельяминов резко обернулся, и в его холодных серых глазах впервые полыхнула живая, неприкрытая злоба. — Вы хоть понимаете, о чём говорите?! Его матери Лидии Гринберг, если она вообще не сгнила в земле тридцать лет назад, сейчас должно быть под девяносто! А вот как только по городу поползёт слух, что умирающий миллионер Блюм на самом деле урождённый Гринберг-Левитин, к его порогу за неделю сбежится стая дальних племянников, седьмая вода на киселе из Жмеринки и Пскова, ушлые адвокаты и охотники за выморочным наследством! Они разорвут его коллекцию на куски на первом же аукционе в Лондоне! А сам Марк Соломонович...

Управляющий опёрся обеими ладонями о край верстака, нависая над сидящим мастером:

— Вы никогда не видели, как задыхается человек с фиброзом лёгких, когда у него падает сатурация от нервного потрясения, Александр Павлович? А я вижу это каждый вечер последние полгода! Он всю жизнь, шестьдесят один год, прожил с мыслью, что Соломон Блюм — его родной отец, а Рахиль Блюм — его родная мать, на могилу которой он каждую весну возит белые каллы на Преображенское кладбище! Если завтра вы посадите этого полуживого старика перед своим верстаком и вгоните ему в череп запись о том, что вся его жизнь с двухлетнего возраста была фальшивкой, а его настоящая мать двадцать лет мыла полы в его прихожей и штопала ему носки на чёрной кухне — вы не спасёте его душу, Верещагин! Вы просто убьёте его без ножа!

В голосе Вельяминова при всей его корыстной расчётливости звучала такая жгучая, выстраданная убеждённость, что Александр Павлович на секунду заколебался. Ведь именно об этом сегодня утром предупреждала его и Аня. Что, если эта страшная правда ноября сорок девятого года действительно неподъёмна для человека, которому осталось дышать считаные недели?

Верещагин посмотрел на лежащий перед ним договор дарения мастерской, потом перевёл взгляд на наглухо запертую крышку дрезденского секретера.

— Заберите свою бумагу со стола, Игорь, — негромко, но твёрдо сказал он, отодвигая гербовый лист двумя пальцами. — Моя мастерская не продаётся за чужое молчание. Но я не палач и не самоубийца. Завтра, когда вы привезёте сюда Марка Соломоновича, я не стану включать ему третий валик с порога без предупреждения. Сначала мы с вашей Еленой Сергеевной положим перед ним факты на бумаге, и если он сам скажет, что не хочет слышать ту

ноябрьскую ночь сорок девятого года — клянусь вам честью мастера, третий валик останется лежать в коробке. Но решать это будет он, а не вы за его спиной.

Вельяминов долго, тяжело смотрел на него сверху вниз, затем молча убрал договор обратно в кожаную папку и застегнул молнию.

— Вы страшный человек со своей правильностью, Александр Павлович, — глухо обронил он уже у самого порога. — Молите бога, чтобы завтра эта ваша честность не закончилась вызовом труповозки к вашему крыльцу. Завтра в два часа мы будем здесь.

Аня вернулась с Земледельческой улицы в шестом часу вечера — продрогшая на сыром ветру, с раскрасневшимися щеками, но в глазах её стоял тот особый, тихий и суровый свет, какой бывает у врачей, когда трудный диагноз наконец подтверждён снимком.

Молча расстегнув плащ, она достала из сумки сложенный вдвое лист плотной мелованной бумаги со штампом больничного архива и две фотографии, сделанные на камеру телефона в полутёмном подвальном хранилище.

— Илья Борисович Корф пустил меня в старый реестр сорок девятого года под честное слово, — сказала она, садясь к тёплой печке и протягивая телефон отцу. — Смотри сюда, пап. Первый снимок — алфавитная книга приёмного покоя третьей детской инфекционной больницы за ноябрь тысяча девятьсот сорок девятого года. Десятого ноября в двадцать три часа сорок минут с диагнозом «острый менингококковый сепсис» записан ребёнок: Гринберг Марк Аркадьевич, два года четыре месяца, ул. Ленина, 14, кв. 9. И в графе «Исход» рукой тогдашнего главврача приписано: «Скончался в приёмном боксе 11.XI.1949 в 04 ч. 15 м. Справка о смерти № 814 выдана на руки».

Верещагин надел очки и приблизил пальцами фотографию разворота старой амбарной книги. Почерк главврача резко отличался от аккуратных записей дежурной сестры — строчка была вписана в самый низ страницы, поверх итоговой черты за сутки, другими, более тёмными чернилами.

— А теперь листни вправо, — тихо сказала Аня. — Это шнуровая книга патологоанатомического отделения и морга той же самой больницы за десятое–пятнадцатое ноября сорок девятого года. В те годы по приказу Минздрава ни один ребёнок, умерший от острой инфекции в первые сутки госпитализации, не мог быть выдан для захоронения без обязательного вскрытия и бактериологического посева. Я проверила весь ноябрь и декабрь от первой до последней строчки. Никакого Марка Гринберга в морг больницы на Земледельческой не поступало! Под номером восемьсот четырнадцать от одиннадцатого ноября там числится мертворождённая девочка из родильного дома на Фурштатской. Главврач просто вписал в журнал приёмного покоя мёртвую душу задним числом в четыре утра — ровно в тот час, когда полковник Блюм сидел в комнате Гринбергов на улице Ленина и заставлял Аркадия с Лидой подписать отказную!

Она положила на верстак заверенную печатью заведующего архивную справку о том, что в книгах учёта секционного зала и выдачи тел за ноябрь 1949 года запись на имя Гринберга М. А. отсутствует.

— Это уже не просто голос из старого дерева, пап, — негромко добавила Аня. — Это железный медицинский факт, который не оспорит ни один юрист Вельяминова.

Весь следующий утренний день Александр Павлович готовил мастерскую так, словно принимал не заказчика, а старого товарища по цеху, вернувшегося из долгой и тяжёлой отлучки.

Он с рассвета убрал в герметичный железный ларь все банки со спиртовыми морилками, скипидаром и шеллаком, насухо, в две воды вымыл дощатый пол, собрав из щелей вековую древесную пыль, настежь открыл форточку и протопил голландку сухими ольховыми и берёзовыми поленьями, которые не дают чада и оставляют в комнате лёгкий, сухой дух нагретой глины. Из своей верхней квартиры он с помощью соседа-студента спустил в мастерскую старинное полукресло с высокой стёганой спинкой и широкими локотниками, поставил его перед открытым секретером и укрыл сиденье тёплым клетчатым пледом.

Сам звукосниматель под чернильницей он перебрал с часовым маслом: промыл бензином «Калоша» цапфы воздушного ветряка, проверил натяжение обеих серебряных струн и чуть ослабил прижимную пружину сапфирового коромысла, чтобы отдача вибрации в дерево шла мягче и не била резким импульсом по сосудам.

Без десяти два у тротуара за окном бесшумно остановился длинный тёмно-синий седан, а следом за ним — белая машина частной медицинской службы.

Александр Павлович накинул поверх чистой фланелевой рубашки суконную жилетку и вышел на крыльцо.

Дождь перестал час назад, но небо над Петроградской стороной оставалось низким, слоистым, цвета старого олова. Вельяминов и коренастый фельдшер со складным пандусом помогали спуститься с подножки автомобиля человеку в длинном, слишком свободном для него тёмном драповом пальто и мягкой фетровой шляпе.

Когда Марк Соломонович Блюм выпрямился на тротуаре, опершись обеими руками в тёмных замшевых перчатках на трость из чёрного эбенового дерева, Верещагина резануло по сердцу острое несоответствие между его паспортным возрастом и тем, что сделала с ним болезнь. Ему был всего шестьдесят один год — на три года больше самого Александра Павловича, — но рядом с лощёным Вельяминовым стоял иссохший, согнутый в плечах старик с пергаментной, землисто-серой кожей и впалыми висками. От портативного кислородного концентратора в сумке идущей рядом немолодой женщины-врача к его ноздрям тянулась тонкая прозрачная канюля, и каждый вдох давался ему с коротким, сухим, похожим на шелест наждачной бумаги усилием.

Но когда, преодолев три каменные ступеньки крыльца, он остановился перевести дух и поднял голову к хозяину мастерской, Верещагин невольно шагнул ему навстречу.

Из-под полей фетровой шляпы на него смотрели удивительно светлые, прозрачно-серые глаза с чуть приподнятыми к вискам упрямыми бровями и мелкой сеткой лучистых морщинок у внешних уголков — глаза той самой девятнадцатилетней Лиды Левитиной с майской фотографии сорок первого года.

— Добрый день, Александр Павлович, — голос Блюма звучал тихо, прерываясь на середине длинных слов для короткого вдоха, но без всякой стариковской дребезжащей слабости: в нём чувствовалась привычка человека, чьи слова десятилетиями слушали в полной тишине. — Простите за этот лазарет у вашего порога. Елена Сергеевна пугала меня вашим подвальным воздухом, но у вас тут пахнет лучше, чем в сосновом бору. Сухой ольхой и хорошим деревом.

— Проходите к печке, Марк Соломонович, — Верещагин бережно придержал тяжёлую дверь, пропуская гостя, врача и мрачного как туча Вельяминова. — Ступенька вниз только одна, держитесь за мой локоть.

Войдя в мастерскую и коротко, с понимающей улыбкой поклонившись Ане, Блюм не сразу сел в приготовленное для него кресло. Опираясь на трость, он медленно подошёл к козлам, снял с правой руки замшевую перчатку и положил узкую, сухую ладонь с синими узлами вен и утолщёнными, как барабанные палочки, концевыми фалангами пальцев на откидную доску дрезденского секретера.

Несколько секунд он молча гладил подушечками пальцев вытертое зелёное сукно и старые фиолетовые пятна вокруг чернильного гнезда.

— Сорок лет я искал это бюро по комиссионкам и старым квартирам, — негромко проговорил он, не оборачиваясь. — Мне ведь было чуть больше двух лет осенью сорок девятого года, но человеческая память устроена странно: мы забываем то, что было вчера, а какую-нибудь картинку из младенчества несём через всю жизнь как цветное стёклышко. Я всю жизнь помнил этот зелёный кружок сукна на высоте моих глаз, запах костяного масла и чьи-то тёплые, пахнущие канифолью мужские пальцы, которые давали мне подержать блестящее латунное колёсико, чтобы я не плакал... Когда мне исполнилось четырнадцать, я спросил у отца — у Соломона Моисеевича, — чей это был секретер и почему его больше нет в нашей квартире на Кировском проспекте. Отец тогда страшно побледнел, вышел из-за стола и сказал, что у нас дома никогда не было никакого немецкого секретера, что это мне приснилось во время детской скарлатины.

Он медленно опустился в глубокое кресло перед верстаком, откинул голову на клетчатый плед и перевёл цепкий, ясный взгляд с Верещагина на застывшего у двери Вельяминова:

— А вчера вечером Игорь вернулся от вас сам не свой, Александр Павлович. Всю ночь ходил по кабинету и убеждал меня не ездить к вам сегодня — уверял, что найденные вами валики повреждены коррозией, что низкая частота убьёт моё сердце и что прошлое полковника Блюма лучше оставить в могиле. Вот тогда я и понял, что вы нашли именно то, ради чего отец перед смертью в шестьдесят восьмом году оставил мне четвёртый валик. Не прячьте глаз, Александр Павлович. Я приехал сюда не за утешением. Я знаю, в каком ведомстве и в какие годы служил мой отец Соломон Блюм. Если на ваших валиках записана кровь — я обязан выпить эту чашу сам, прежде чем предстать перед Богом.

Александр Павлович переглянулся с дочерью, затем подошёл к верстаку, взял со стола чистую картонную папку и положил её на колени старика поверх пальто.

— Прежде чем мы коснёмся секретера, Марк Соломонович, — спокойно и весомо сказал Верещагин, — я дал слово вашему управляющему и врачам, что вы сами примете решение, слушать ли запись на третьем валике. На нём действительно записана ночь одиннадцатого

ноября тысяча девятьсот сорок девятого года. И там действительно звучит голос полковника Соломона Моисеевича Блюма. Но эта запись — не о чужих людях, которых он допрашивал на Литейном. Она о вас. Откройте папку.

Марк Соломонович нахмурился, тонкими, чуть подрагивающими пальцами раскрыл картонные корочки и достал из кармашка на переплёте старый тисненый бланк фотографии мая сорок первого года.

Секунд десять он молча смотрел на девятнадцатилетнюю девушку с тяжёлыми тёмными косами и смеющимися светлыми глазами, стоявшую рядом со старой учительницей. Постепенно серое лицо старика начало меняться — скулы заострились, а дыхание под прозрачной трубкой канюли стало частым и прерывистым.

— Это... это ведь тётя Лида, — прошептал он, поднося снимок к самым глазам. — Лидия Павловна Гринберг, наша приходящая бонна и экономка, которая двадцать лет приходила в наш дом на Кировском проспекте... Только здесь она совсем юная, до войны... Откуда у вас её карточка, Александр Павлович?!

— Из той самой угловой комнаты на улице Ленина, дом четырнадцать, квартира девять, откуда позавчера привезли этот секретер, — ответил Верещагин. — Секретер принадлежал её матери, учительнице Анне Михайловне Левитиной, и её мужу — часовщику и механику четвёртого спецотдела Аркадию Соломоновичу Гринбергу. А ниже в папке лежат ещё два документа. Первый — письмо Анны Михайловны дочери из февраля сорок второго года, найденное вчера за плинтусом. Второй — официальная справка из архива детской инфекционной больницы на Земледельческой улице за одиннадцатое ноября сорок девятого года о фиктивной смерти в приёмном покое двухлетнего мальчика — Марка Аркадьевича Гринберга.

В мастерской наступила такая звенящая, натянутая как струна тишина, что было слышно, как тихонько гудит компрессор медицинского прибора в сумке у ног Елены Сергеевны.

Вельяминов у двери закрыл глаза и отвернулся к стене.

Марк Соломонович медленно, строчка за строчкой прочитал больничную выписку, затем снова перевёл взгляд на фотографию молодой Лиды — и вдруг с пугающей ясностью увидел в её девятнадцатилетнем лице собственные глаза, собственный излом бровей и собственную линию губ, которую шестьдесят лет видел по утрам в бритвенном зеркале.

— Значит, та комната с зелёным сукном и тёплые мужские руки с блестящим колёсиком... — голос старика сорвался на беззвучный шелест, он схватился рукой за грудь, и Елена Сергеевна с Аней синхронно шагнули к креслу с двух сторон. — Это был не кабинет отца на Кировском... Это была комната часовщика Гринберга на улице Ленина... И тётя Лида, которая в Таврическом саду целовала мои разбитые коленки и плакала в беседке...

— Марк Соломонович, давление! — строго сказала Елена Сергеевна, прикладывая мембрану к его виску и прибавляя вентиль кислорода. — Достаточно на сегодня, я категорически запрещаю включать аппарат!

Старик с неожиданной для его иссохшего тела силой отвёл руку врача от своего плеча. Лицо его залила нездоровая синеватая бледность, но светлые глаза под нависшими бровями горели сухой, неукротимой волей:

— Не смейте останавливать, Елена Сергеевна. Я шестьдесят один год носил чужую личину и думал, что во мне течёт кровь человека из Большого дома. Если я сейчас уйду отсюда, не услышав голоса своего отца и своей матери из той ночи — я умру в машине по дороге на Каменноостровский. Александр Павлович, ставьте третий валик. Я приказываю вам как владелец этой вещи.

Аня посмотрела на отца и коротко, едва заметно кивнула, доставая из кармана шприц с набранным раствором на случай спазма: отступать было действительно поздно — неопределённость сейчас убивала старика вернее любой правды.

Верещагин зажёг восковую свечу, установил тёмно-медный валик «№ 3» в шлицы под чернильницей и сел на табурет рядом с креслом гостя.

— Положите правую ладонь на доску секретера, — тихо сказал он старику. — А я положу свою руку поверх вашей, чтобы взять половину резонанса на себя. Мы пойдём туда вместе.

Сухие, горячие пальцы Марка легли на вытертое зелёное сукно и край махагони — ровно на то самое место, где в ноябре сорок девятого года стоял тридцатичетырёхлетний Аркадий Гринберг. Александр Павлович накрыл его кисть своей широкой ладонью и нажал большим пальцем на медный ободок чернильного гнезда.

Аня с одной стороны и Елена Сергеевна с другой взяли старика за левое предплечье, контролируя нить пульса.

Внутри секретера глухо освободился анкерный спуск. Серебряные струны над еловой декой вздрогнули, посылая в две соединённые мужские руки густую, пронизывающую до самого сердца волну, и огонёк свечи погас.

И снова вокруг них сомкнулась душная, прокуренная ноябрьская ночь тысяча девятьсот сорок девятого года — с запахом мокрой кожи полковничьего реглана, папиросного пепла в блюдце и детского дыхания за ситцевой ширмой.

Но сейчас Верещагин ощущал это пространство иначе: между ним и беспощадным голосом полковника Блюма за круглым столом стояла живая, трепещущая тень старика в кресле, который сквозь толщу шестидесяти лет смотрел снизу вверх на своих молодых, раздавленных горем родителей — седого у висков Аркадия в сбившихся очках и двадцатисемилетнюю Лиду, судорожно вцепившуюся в спинку его детской кроватки.

«— Мальчик станет Марком Соломоновичем Блюмом. Эту серую папку я сожгу у себя в камине сегодня ночью. Вы оба останетесь на свободе, здесь, в своей комнате...

— Вы зверь... Вы в сорок втором году дали моей маме кусок сала, а теперь пришли забрать за него моего живого сына?! Да лучше убейте нас всех троих прямо здесь!

— Я оформлю вас, Лидия Павловна, по документам приходящей домработницей и няней в нашу квартиру на Кировском проспекте... Будете приходить к мальчику через день, варить ему кашу, водить за руку в Таврический сад... Одно условие: если хоть раз проговоритесь при нём или при Рахили, кто вы ему на самом деле — в двадцать четыре часа поедете этапом на Колыму...

— Мы подпишем... Только не увозите его из Ленинграда, Соломон Моисеевич... Поклянитесь, что Лида сможет его видеть...»

Под ладонью Верещагина худые пальцы старика свело каменной судорогой, из груди Марка вырвался глухой, сдавленный всхлип, и Елена Сергеевна уже рванулась было отдернуть его руку от дерева, как вдруг сапфировая игла внутри секретера дошла до гладкого разделительного пояска, на котором вчера оборвалось одиночное прослушивание Верещагина.

И тут сработала скрытая механика часовщика Гринберга.

Вчера веса одной руки реставратора не хватило, чтобы продавить тугую вторую пружину под медным кольцом. Но сейчас, когда на доску секретера опирались сразу две мужские ладони, кольцевая педалька под чернильницей ушла вниз ещё на миллиметр. Скрытый разобщитель щёлкнул, перебросил коромысло с иглой через гладкую перемычку на крайнюю, самую узкую четверть латунного валика — и ход маховика замедлился вдвое.

Душный табачный угар ноябрьской ночи мгновенно рассеялся.

Тяжёлые шаги полковника Блюма на лестнице стихли. В угловой комнате пахло только лекарственной ромашкой, воском и мокрым снегом за чёрным стеклом.

У самого раструба чернильницы, почти касаясь губами медного ободка, сидел один Аркадий Гринберг. Была, должно быть, следующая ночь — детская кроватка за отдвинутой ширмой уже стояла пустой, с сиротливо скомканным байковым одеяльцем, а Лида в беспамятстве забылась тяжёлым сном на тахте у стены.

Голос Аркадия звучал совсем тихо, надтреснуто от выплаканных слёз, но с удивительной, пронзительной твёрдостью:

— Маркуша, сынок мой единственный. Эту крайнюю дорожку за пояском я проточил сегодня ночью под двойной нажим пружины — если когда-нибудь чужие люди из управления найдут этот валик и поставят в аппарат, игла остановится на первом щелчке, они решат, что я записал только разговор с Блюмом для своей страховки. До самого края этот валик дойдёт лишь тогда, когда рядом с тобой за наш секретер сядет добрый человек и положит свою руку поверх твоей... Если ты слышишь сейчас меня, значит, ты уже взрослый, а меня, верно, давно нет на свете.

Внутри записи послышался короткий, прерывистый вздох часовщика и тихий звон пинцета о край чернильницы.

— Вчера утром тебя увезли на Кировский проспект, сынок. Я не знаю, какую жизнь ты проживёшь в том доме и какими словами тебе объяснят, почему мы с мамой не рядом. Но я заклинаю тебя всем святым: никогда, ни на одну минуту не смей думать, что мы отдали

тебя от трусости или выменяли на собственное благополучие! Вчера ночью у нас с мамой не было выбора между свободой и тюрьмой — у нас был выбор только между твоей жизнью и твоей смертью в казённом бараке. И ещё об одном прошу тебя, родной мой: не суди слишком строго свою маму Лиду, когда вырастешь и вспомнишь, как она молча подавала тебе пальто в прихожей полковника Блюма и не смела поцеловать тебя при чужих людях. Сегодня ночью, когда тебя забрали, она хотела выпить уксусную эссенцию на кухне — я выбил склянку у неё из рук только тем, что напомнил: послезавтра в десять утра Блюм разрешил ей прийти к тебе на Кировский сварить манную кашу. Она осталась жить только ради этих часов рядом с тобой.

Голос Аркадия стал совсем близким, тёплым, словно он гладил сына ладонью по голове сквозь шестьдесят лет немоты:

— И не бойся своей крови, Маркуша. Какое бы отчество и фамилию ни вписали тебе в метрику люди из Большого дома — помни, что твоё настоящее имя Марк Аркадьевич Гринберг. Твой дед с маминой стороны, Павел Николаевич Левитин, сорок лет лечил бедных детей на Петроградской стороне и умер в сорок втором году у операционного стола. Твой дед с моей стороны, Соломон Гринберг, чинил башенные куранты и музыкальные шкатулки по всему Петербургу. В тебе нет ни капли злобы и насилия, сынок. Ты сын мастера и врача, а не сын палача. Живи с прямой спиной, береги маму, если она доживёт до этого дня, и прости нас, что не смогли вырастить тебя в своём доме...

Сапфировая игла мягко сошла с последнего витка в глухую кольцевую канавку и остановилась.

Пламя восковой свечи на шандале не зажглось само — в полутёмной мастерской стоял густой сизый сумрак октябрьского дня, пахнущий тёплой ольховой золой из печки и растопленным воском.

Никто не решался проронить ни звука.

Марк Аркадьевич сидел в глубоком кресле, уронив седую голову на грудь, а его правая рука под ладонью Верещагина всё ещё судорожно гладила вытертое зелёное сукно доски — там, где в ноябре сорок девятого года упали слёзы его настоящего отца. Он плакал беззвучно, закрыв глаза, по его запавшим, небритым щекам в воротник пальто катились тяжёлые слёзы, но странное дело: аппарат на ремне у Елены Сергеевны ровно пощёлкивал клапаном, а грудная клетка старика поднималась и опускалась без того страшного металлического свиста, с которым он переступил порог мастерской полчаса назад.

Аня осторожно убрала пальцы с его лучевой артерии и шепнула коллеге-пульмонологу:

— Сто тридцать на восемьдесят, ритм синусовый, правильный. Бронхоспазм отпустил.

Прошло не меньше трех минут, прежде чем старик медленно открыл глаза и отнял руку от секретера. Он посмотрел на свои длинные, тонкие пальцы с плоскими ногтями мастерового человека, потом перевёл взгляд на бледного, вжавшегося спиной в кирпичный простенок Вельяминова.

— Так вот о каких кашах по утрам и прогулках в Таврическом саду я помнил всю жизнь, Игорь, — тихо, удивительно чистым и твёрдым голосом произнёс он. — А ты вчера ночью

уверял меня, что архивы сорок девятого года сгорели... Ты ведь знал про больницу на Земледельческой и про усыновление, не так ли?

Вельяминов сглотнул, но врать под этим прямым, светлым взглядом не посмел:

— Знал с прошлой недели, Марк Соломонович. Я боялся, что эта запись сведёт вас в могилу прямо здесь. Вы же сами слышали слова врачей на прошлой неделе...

— Врачи лечат лёгкие, Игорь, а задыхался я сорок лет совсем от другого, — Марк Аркадьевич с усилием повернулся в кресле к Верещагину и взял его широкую, перепачканную морилкой руку обеими своими сухими ладонями. — Александр Павлович... Я ведь после смерти Соломона Моисеевича в шестьдесят восьмом году, когда нашёл в его бумагах старые расстрельные списки сорок девятого и пятидесятого годов с его подписями, возненавидел саму жизнь. Я поклялся себе, что у меня никогда не будет ни жены, ни детей, чтобы эта проклятая, отравленная страхом и чужой кровью порода Блюмов закончилась на мне навсегда. Я шестьдесят лет прожил в одиночной камере собственного стыда! А вы сегодня открыли эту дверь и выпустили меня на волю.

Он достал из папки фотографию сорок первого года и поднёс её к глазам:

— Моя мама... Лидия Павловна Гринберг. Боже мой, ведь в марте шестьдесят восьмого года, за неделю до того как она навсегда перестала приходить к нам на Кировский проспект, мы столкнулись с ней вечером на чёрной лестнице. Мне было двадцать лет, я возвращался из университета, а она мыла ступеньки тряпкой в холодной воде. Я отобрал у неё ведро, поднял её за замёрзшие красные руки, заглянул ей в лицо и спросил: «Тётя Лида, почему вы всю жизнь смотрите на меня так, будто я ваш сын, и почему Соломон Моисеевич вчера кричал на вас в кабинете из-за моего вопроса о вашем муже?». Она тогда ничего мне не ответила — только прижалась губами к моему рукаву, вырвала ведро и убежала вниз... А через четыре дня мне сказали, что домработница Лидия уволилась и уехала из Ленинграда, а её муж-часовщик умер от разрыва сердца.

Старик тяжело опёрся на эбеновую трость, пытаясь приподняться:

— Александр Павлович, у вас ведь на руках остался только седьмой валик из сорок второго года? А куда исчезли остальные записи моего отца Аркадия после того мартовского обыска шестьдесят восьмого года? И почему Соломон Моисеевич перед смертью в больнице отдал мне четвёртый валик и плакал, прося прощения? Что произошло между ними в марте шестьдесят восьмого года?

— На этот вопрос нам ответит архив управления, куда после смерти Аркадия Соломоновича увезли его тетради и остальные цилиндры, — ответил Верещагин. — Моя знакомая архивистка Полина Ковалёва уже второй день ищет по фондам передаточные описи шестьдесят восьмого года.

Марк Аркадьевич перевёл властный, не терпящий возражений взгляд на своего управляющего:

— Игорь. С этой минуты все ресурсы нашего дома и все твои связи в городе поступают в полное распоряжение Александра Павловича Верещагина. Секретер моей семьи остаётся в

этой мастерской — аннулируй приходный ордер и выпиши дарственную на имя мастера. Но если ты хочешь остаться управляющим моего фонда — мы должны до конца этой недели найти следы всех изъятых в шестьдесят восьмом году бумаг Аркадия Гринберга и узнать, что стало с моей матерью Лидией Павловной после её отъезда из Ленинграда. Живой или мёртвой — я обязан её найти.

Машины с Марком Аркадьевичем, его врачом и притихшим Вельяминовым уехали с Малого проспекта около четырёх часов дня.

Аня, убедившись, что давление у отца держится в пределах ста сорока и повторного криза нет, оставила на верстаке строгую схему приёма таблеток по часам и уехала отсыпаться домой, взяв с Верещагина твёрдое слово, что до завтрашнего утра он пальцем не притронется к механизму секретера.

Впрочем, трогать секретер сейчас было и незачем: оба найденных в нём валика — седьмой и третий — отдали всё, что хранили в своей латунной нарезке. Впереди лежала глухая стена марта тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года.

Около шести вечера, когда за окном снова повалил густой, перемешанный с первой ледяной крупой октябрьский дождь, в дверь мастерской осторожно постучали — два коротких, робких удара.

Александр Павлович выглянул в окно и открыл засов. На крыльце без зонта, кутаясь в промокший насквозь вязаный шарф и прижимая к груди разбухшую от бумаг полиэтиленовую папку, стояла Полина Ковалёва. Лицо маленькой архивистки раскраснелось от быстрой ходьбы против ветра, а стёкла круглых очков сплошь затянуло водяной пылью.

— Господи, Полина, да на вас сухой нитки нет! — Верещагин торопливо втянул девушку в тепло мастерской, забрал у неё мокрое пальто и усадил на табурет вплотную к горячему изразцовому боку печки. — Кто же в такую пургу пешком от метро бегает?

— Я не от метро, Александр Павлович, я прямо с Литейного через Троицкий мост на трамвае! — Полина сняла очки, промокнула их кончиком сухого носового платка и посмотрела на реставратора огромными, сияющими от гордости и волнения близорукими глазами. — Я не стала звонить вам по мобильному, потому что сегодня утром наша заведующая сектором опять расспрашивала, кому это я копировала описи по Петроградской стороне. Но я всё-таки докопалась до конца тех трёхсот передаточных ведомостей восемьдесят девятого года!

Верещагин подал ей горячую кружку чая с лимоном и придвинул второй табурет:

— Нашли следы обыска у Гринберга?

— Нашла даже больше, чем мы искали! — Полина положила полиэтиленовую папку на край верстака и бережно, как святыню, достала оттуда несколько листов с бледными карандашными выписками, которые делала от руки в читальном зале спецхрана. — Оказывается, искать нужно было не по фамилии часовщика Гринберга, а по персональному делу самого полковника Блюма С. М.! В конце апреля шестьдесят восьмого года, через три дня после смерти полковника Блюма в Свердловской больнице, специальная комиссия управления во главе со

старшим оперуполномоченным четвёртого отдела майором Геннадием Петровичем Смирновым опечатала домашний сейф покойного Блюма на Кировском проспекте и провела ревизию!

Александр Павлович наклонился над её записями:

— Значит, бумаги и валики Аркадия Соломоновича после мартовского обыска на улице Ленина хранились не в казённом хранилище, а дома у Блюма?

— Часть — в управлении, а самая закрытая часть — в домашнем сейфе Блюма! Смотрите, что я выписала из протокола вскрытия сейфа от двадцать девятого апреля тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года, подписанного майором Смирновым: «Пункт 1. Изъяты латунные звуковые цилиндры спецобразца с гравировкой № 1, № 2 и № 6 — три штуки. Пункт 2. Личное наблюдательное дело и три общие тетради с расчётами и записями механика Гринберга А. С., изъятые по ордеру от 22.03.1968 г.». Сами валики один, два и шесть в семьдесят втором году уничтожили по акту переплавки в присутствии трёх офицеров. А вот бумажные коробки с тетрадями Гринберга и папками Блюма пролежали в архиве до осени восемьдесят девятого года, и когда началось рассекречивание старых фондов, их по акту № 114-с передали на постоянное хранение в Государственный музей истории Ленинграда на набережной Лейтенанта Шмидта!

— В особняк Румянцева на Английской набережной? — уточнил Верещагин.

— В их архивный корпус на набережной Шмидта! И знаете, что самое невероятное, Александр Павлович? Когда я стала пробивать по музейному справочнику, кто сейчас возглавляет там сектор документальных фондов второй половины двадцатого века, куда ушли эти коробки, — у меня самой руки задрожали. Заведующий сектором — кандидат исторических наук Николай Геннадьевич Смирнов. Родной сын того самого майора Геннадия Петровича Смирнова, который в марте шестьдесят восьмого года проводил обыск у часовщика Гринберга, а в апреле вскрывал сейф полковника Блюма!

Верещагин медленно выпрямился, складывая в уме номера цилиндров.

Первого, второго и шестого валиков больше не существовало в природе — они ушли в переплавку в семьдесят втором году. Третий и седьмой лежали здесь, в мастерской. Четвёртый хранился дома у самого Марка Аркадьевича. Оставался ещё один пропущенный номер.

— Полина, — тихо спросил он, — а в протоколе майора Смирнова нет ни слова про валик номер пять?

Архивистка торжествующе улыбнулась и вытянула из папки второй, самый маленький листок:

— Вы настоящий сыщик, Александр Павлович! Я тоже сразу заметила дырку в нумерации между четвёртым и шестым! В самом протоколе сейфа Блюма пятого номера не было. Тогда я подняла приложенную к делу справку наружного наблюдения и милиции по квартире Гринберга за март шестьдесят восьмого года. И вот что там записано на обороте: «Установлено, что 14 марта 1968 года, за восемь суток до смерти Гринберга А. С., его супруга Гринберг Лидия Павловна сдала по паспорту на комиссию в антикварный магазин № 12 Ленкомиссионторга (Литейный пр., д. 48) точёную бронзовую деталь от каминных часов с номером 5. При проверке магазина оперуполномоченным майором Смирновым Г. П. 20 марта 1968 года директор мага-

зина Гольдфарб И. М. предъявил акт о случайной утере указанной детали в подполье склада при ремонте балок. Ввиду малоценности предмета дальнейший розыск прекращён»!

— Литейный, сорок восемь, — повторил Верещагин, подходя к карте города, висевшей на дверце инструментального шкафа. — Бывший двенадцатый комиссионный между Пестеля и Симеоновской. Я знаю это место: полуподвал со сводами, там с начала девяностых держит лавку старый оценщик Борис Львович Кац, бывший ученик Гольдфарба. Я четыре года назад реставрировал для его клиента бюро павловского времени.

— Как вы думаете, этот пятый валик действительно провалился тогда под гнилые доски? — с замиранием сердца спросила Полина, грея ладони о горячую кружку.

— У директора Ильи Матвеевича Гольдфарба за двадцать лет работы в главной антикварной комиссионке на Литейном даже медная копейка случайно под пол не закатывалась, — усмехнулся в усы Александр Павлович, глядя на часы. Было половина седьмого вечера, лавка Каца закрывалась в семь, ехать туда сегодня под ночь не имело смысла. — Если старый фронтовик Гольдфарб составил для майора Смирнова липовый акт об утопленной в подполье бронзе за два дня до гибели часовщика — значит, Лидия Павловна не продавала пятый валик, а прятала его у верного человека. И завтра с самого утра мы с Аней проверим, умеют ли старые антиквары с Литейного хранить чужие тайны так же крепко, как старое красное дерево.

Глава 4

Глава 4. Литейный, сорок восемь

Утро выдалось сухим, звонким и по-октябрьски злым. Ночной ветер с залива разогнал низкую хмарь, выморозив лужи на Малом проспекте до хрусткой слюдяной корочки, и в половине десятого, когда Аня толкнула дверь мастерской, вместе с ней с улицы ворвалось облако морозного пара и густой запах настоящего зернового эспрессо.

На верстак рядом с банкой клея легли два высоких бумажных стакана в картонных манжетах и сложенный вчетверо лист с распечатанной схемой квартала между Литейным проспектом, улицей Пестеля и Моховой.

— Сто тридцать на восемьдесят, — удовлетворённо кивнула Аня после утренней проверки отцовского запястья и сняла пальто. — Глаз почти побелел. Пей кофе, пап, там арабики всего треть, остальное — горячее молоко с корицей, я в кофейне у метро сама над бариста стояла. Магазин твоего Бориса Львовича открывается ровно в десять.

Александр Павлович обхватил горячий стакан ладонями, согревая вечно зябнущие по утрам суставы пальцев, и придвинул к себе распечатку карты.

— Полина вчера поздно вечером прислала сообщение с домашнего телефона, — сказала Аня, разворачивая схему и проводя ногтем по линии Литейного проспекта. — Она проверила по справочнику Ленгорсправки за шестьдесят восьмой год: комиссионный магазин № 12 помещался в доме сорок восемь, в правом флигеле со входом прямо с тротуара. Сейчас там вывеска «Старый Литейный. Антиквариат и оценка». Но есть одна странность, пап. Полина сегодня без четверти девять позвонила Борису Львовичу на городской номер лавки, чтобы предупредить, что к нему приедет реставратор Верещагин по поводу архивной книги шестьдесят восьмого года. И старик ответил ей очень странной фразой: «Передайте Верещагину, чтобы поторопился, потому что вокруг моей двери уже второй день кружат коршуны».

Верещагин приподнял бровь:

— Вельяминов?

— Похоже на то. Несмотря на вчерашний приказ Марка Аркадьевича во всём тебе подчиняться, господин управляющий явно ведёт свою собственную игру и пытается перехватить улики раньше нас.

— Привычка быть хозяином положения за один вечер не лечится, — Александр Павлович допил кофе, проверил во внутреннем кармане пиджака кожаный бумажник, в котором лежали фотография Лиды сорок первого года и больничная выписка с Земледельческой, и снял с гвоздя плащ. — Поехали, дочка. Посмотрим, что там за коршуны.

До станции «Маяковская» они добрались без четверти десять, поднялись по гулкому эскалатору на Невский и свернули на Литейный проспект.

Утренний Литейный жил своей вечной, торопливой и чуть сумрачной жизнью. Вдоль высоких доходных домов девятнадцатого века, помнивших ещё кареты ведомства статс-секретаря и типографии некрасовского «Современника», неслись потоки машин, ветер гнал по сухому асфальту почерневшие листья из Михайловского сада, а дворники в брезентовых фартуках скалывали ломами тонкий ледок у водосточных труб.

Для Александра Павловича этот проспект с юности имел двойное дно. В нижней его части, ближе к Невскому, тянулось царство букинистов, старьёвщиков и багетных мастерских, куда он ещё студентом бегал присматривать старинную бронзу и обрезки красного дерева. А в верхнем конце, у самого Литейного моста, над проспектом нависал серый гранитный утёс Большого дома — того самого здания, откуда в январе сорок второго года вышел на поиски часовщика Гринберга старший майор Соломон Блюм. И то, что в марте шестьдесят восьмого года Лидия Павловна Гринберг понесла прятать последний валик мужа именно сюда, на Литейный, в пяти минутах ходьбы от кабинетов людей, охотившихся за её семьёй, казалось почти отчаянным вызовом судьбе.

Дом номер сорок восемь встретил их тяжёлым рустованным фасадом цвета старой горчицы и кованым железным козырьком над узкой каменной лестницей, уходившей круто вниз, под своды цокольного этажа. Над входом покачивалась на ветру неяркая вывеска с золотыми буквами по тёмно-зелёному полю: «Старый Литейный. Предметы старины. Покупка и экспертиза».

У края тротуара, метрах в пятнадцати от спуска в полуподвал, стоял с включённым аварийным сигналом знакомый серый «Логан», который вчера утром дежурил у булочной на Малом проспекте. За рулём никого не было.

— Опоздали на пять минут, — тихо сказала Аня, ускоряя шаг.

Верещагин спустился по семи крутым, выщербленным лещадным ступеням и потянул на себя тяжёлую дубовую дверь с латунной сеткой поверх стекла. Вверху сухо и мелодично звякнул старинный валдайский колокольчик.

Внутри полуподвала стоял густой, тёплый, настоянный десятилетиями воздух старой петербургской лавки — смесь пчелиного воска, скипидарной мастики, пересохшей сафьяновой кожи книжных корешков и старого табака. Сразу от порога начинался узкий лабиринт между пузатыми голландскими горками, уставленными пастушками мейсенского и гарднеровского фарфора, тусклыми самоварами баосовской работы, каминными экранами с вышивкой стеклярусом и рядами старинных часов, которые тикали на стенах вразнобой — от гулкого, мерного шага напольных английских регуляторов до торопливой капели каретников под стеклянными колпаками.

В глубине зала перед дубовым прилавком стоял спиной к входу массивный короткостриженый парень в чёрной кожаной куртке — вчерашний охранник Вельяминова Кирилл. Перед ним на стекле витрины лежал пухлый конверт.

А по ту сторону прилавка, под низким двухслойным зелёным абажуром, сидел в глубоком кресле невысокий грузный старик лет семидесяти с копной жёстких седых волос, крупным породистым носом и тяжёлыми, воспалёнными веками за толстыми стёклами очков в черепаховой оправе. На нём была тёмно-вишнёвая вельветовая куртка со стоячим воротником, а обе

руки с распухшими от подагры суставами спокойно опирались на набалдашник толстой суковатой палки.

— ...и я повторяю вам русским языком, молодой человек, — негромким, чуть сипловатым голосом говорил старик, даже не глядя на лежащий перед ним конверт, — вы можете положить сюда хоть весь золотой запас Российской империи, но старые квитанционные книги Ленкомиссионторга вам не принадлежат. Передайте господину Вельяминову, что Борис Львович Кац пережил в этом подвале три ревизии ОБХСС, рэкетиров девяносто третьего года и два наводнения, так что пугать меня налоговой инспекцией — пустое сотрясение воздуха.

— Доброе утро, Борис Львович, — громко сказал Верещагин, проходя вдоль витрины и вставая рядом с охранником. — Кажется, ваш посетитель уже уходит. Не правда ли, Кирилл?

Короткостриженый медленно повернул голову. На его тяжёлом скуластом лице не отразилось ни смущения, ни досады — он окинул реставратора и Аню спокойным, оценивающим взглядом, молча забрал со стекла витрины белый конверт, сунул его за пазуху и, ни слова не сказав, пошёл к выходу, обдав Аню у дверей запахом мокрой кожи и мятной жвачки.

Когда колокольчик за ним отзвенел, Борис Львович снял очки, потёр переносицу двумя пальцами и долго, прищурившись, всматривался в лицо Верещагина.

— Александр Павлович Верещагин, если мне не изменяет память? — произнёс он наконец. — Мастерская на Малом проспекте Петроградской стороны?

— Она самая, Борис Львович. А это моя дочь Анна Александровна.

— Помню вашу руку, Александр Павлович, — старый антиквар чуть наклонил седую голову, но улыбаться не спешил. — Четыре года назад вы поднимали из щепок бюро жакоб с латунной жилкой для покойного академика Лаврова. Вдова потом продавала его через наш магазин — я полчаса с лупой ползал по крышке, искал, где вы врезали вставки взамен утраченного махагони, и едва нашёл стык. Чистая работа, старая школа. Садитесь вон на те стулья гамбсовского набора, они крепкие. И рассказывайте без утайки: с какой стати за одной и той же сгнившей квитанцией тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года с разницей в полчаса ко мне приходят бандиты из «Северного Ковчега» и лучший краснодеревщик Петроградской стороны?

Верещагин не стал садиться. Подойдя к прилавку, он расстегнул плащ, достал из внутреннего кармана два валика в вощёной бумаге — «№ 3» и «№ 7», — развернул их на зелёном сукне для показа монет и положил рядом фотографию Анны Михайловны и девятнадцатилетней Лиды Левитиной.

Борис Львович снова надел черепаховые очки, наклонился над сукном и долго молча смотрел сначала на косые зубцы латунных цилиндров, а затем на светлые, смеющиеся глаза девушки на довоенном снимке.

— Значит, секретер с улицы Ленина попал в ваши руки, — тихо сказал он. — А я-то на прошлой неделе, когда сюда приходил сам этот хлыщ Вельяминов и выспрашивал про старые накладные на фамилию Гринберг, всё гадал: неужели докопались до бюро Аркадия Соломоновича?

— Вы знали самого Аркадия Соломоновича, Борис Львович? — спросила Аня.

— Лично видел только дважды, барышня, в шестьдесят седьмом году, когда он приносил к нам в магазин на оценку старинные каретные часы, — старик тяжело поднялся из кресла, опираясь на суковатую палку, прошёл к входной двери, повернул изнутри ключ в замке и перевернул табличку на стекле надписью «Перерыв на учёт» к улице. — Но в доме моего учителя, покойного директора этого двенадцатого комиссионного магазина Ильи Матвеевича Гольдфарба, имя часовщика Гринберга произносили так, как в синагоге произносят имена праведников.

Вернувшись за прилавок, он тяжело опустился в кресло и посмотрел на Верещагина поверх очков:

— Вы думаете, почему я не отдал ничего Вельяминову ни на прошлой неделе, ни сегодня утром? Потому что люди, которые приходят за старой чужой тайной с пачкой стодолларовых бумажек и мордоворотом у дверей, никогда не несут добра тем, чья память в этой вещи спрятана. А вам, Александр Павлович, позвонила барышня из архива и сказала, что вы ищете следы самой Лидии Павловны Гринберг. Вы знаете, чего стоил этот пятый валик нашему Илье Матвеевичу в шестьдесят восьмом году?

— В архивной справке сказано только, что деталь списали по акту утери при ремонте полов, — ответил Верещагин.

— «Списали по акту»! — горько усмехнулся старый оценщик. — На бумаге всё гладко пишется, Александр Павлович. А на деле было вот как. Я пришёл сюда младшим товароведом осенью шестьдесят седьмого года, двадцатидвухлетним пацаном после срочной службы. Директором магазина был Илья Матвеевич Гольдфарб — старый сапёр, капитан в отставке, у которого вместо трёх пальцев на левой руке была кожаная культяпка с Синявинских болот. Зимой сорок третьего года, когда Илья Матвеевич лежал в госпитале под Тихвином, его молодая жена Сара и годовалая дочка умирали здесь, на Моховой улице, от дистрофии и крупозного воспаления лёгких. И вытащил их с того света часовщик Аркадий Соломонович Гринберг: достал через знакомых военврачей санитарного поезда дефицитный сульфидин, привёз на детских саночках мешок берёзовых обрезков из своей спецмастерской и две недели через день ходил колоть им дрова и топить печурку.

Борис Львович помолчал, потирая распухшие суставы пальцев, и голос его стал глуше:

— Четырнадцатого марта шестьдесят восьмого года, в четверть седьмого вечера, за полчаса до закрытия, к нам в магазин с Литейного спустилась женщина. Я стоял вот здесь, у крайней витрины с серебром, и запомнил её на всю жизнь. Невысокая, худенькая, в сером драповом пальто и пуховом платке, из-под которого вились седые пряди в тёмных косах. Лицо белое как мел, глаза огромные, сухие, и вся она дрожит мелкой-мелкой дрожью, будто с мороза, хотя на улице капель была. Прошла прямо за конторку к Илье Матвеевичу, достала из муфты маленький свёрток в марле и сказала шёпотом — а в подвале тихо было, я каждое слово слышал: «Илья Матвеевич, ради памяти сорок третьего года, спасите. Соломон Блюм вчера слёг с инфарктом в больницу, а его люди из управления взяли наш дом в кольцо. За Аркашей со дня на день придут с обыском. Примите у меня этот валик по официальной квитанции как простой бронзовый лом и поставьте на дальнюю полку за такую цену, чтобы никто не купил. Мне нужно

только одно — чтобы он три недели пролежал под казённой государственной пломбой, куда они не сунутся без прокурорского ордера. Как только гроза пройдёт, мы с Аркашей вернёмся и выкупим».

Аня подалась вперёд, не сводя глаз со старика:

— Значит, она не пыталась его продать! Она прятала валик в комиссионке как в банковской ячейке!

— Именно так, девочка, — кивнул Борис Львович. — Илья Матвеевич ни секунды не колебался. Позвал меня, велел достать шнуровую книгу приёма на комиссию и продиктовал запись № 418 от четырнадцатого марта: «Втулка от каминных часов фигурная, бронза, б/у, гравировка № 5. Оценка сдатчика — 65 руб.». Шестьдесят пять рублей в шестьдесят восьмом году — это зарплата младшего научного сотрудника за месяц, ни один часовщик в здравом уме за точёную гильзу без механизма таких денег бы не заплатил! Лидия Павловна расписалась в книге, спрятала второй экземпляр квитанции в сумочку, поклонилась нам обоим и вышла. А Илья Матвеевич в тот же вечер не стал класть валик на склад, а отвернул заднюю дверцу вон у тех напольных немецких часов «Густав Беккер» в углу, которые стояли у нас на невыкупленной комиссии с пятьдесят девятого года, и подвесил латунный цилиндр на проволоке внутри глухого деревянного футляра за гирями.

Старый антиквар повернул голову к высокому, темневшему в простенке между горками футляру старинных часов с потускневшим латунным маятником за стеклом.

— И как в воду глядел старый сапёр, — продолжил Борис Львович. — Ровно через шесть дней, утром двадцатого марта, в магазин вошли двое: майор госбезопасности по фамилии Смирнов и с ним молодой оперативник с колючими глазами. Проверили по паспорту книгу учёта, нашли квитанцию № 418 на имя Гринберг Лидии Павловны и потребовали выдать предмет. Илья Матвеевич побледнел, но глазом не моргнул: повёл их в заднюю кладовку, где у нас плотники как раз третьего дня вскрывали сгнившие половые лаги над затопленным грунтовой водой подпольем, и предъявил составленный вчера задним числом акт о том, что ящик с мелким бронзовым ломом сорвался со стеллажа в чёрную жижу под фундаментом. Молодой оперативник кричал, требовал вызвать водопроводчиков с насосом, грозил Илье Матвеевичу трибуналом, а старший — майор Смирнов — постоял над этой гнилой дырой в полу, посмотрел на культю Ильи Матвеевича и на его орденские планки на пиджаке и тихо сказал напарнику: «Оставь, лейтенант. Тут три метра вековой грязи под плитой, ничего не найдёшь. Подписывай акт утери».

— Значит, майор Смирнов понял, что директор прячет валик? — спросил Верещагин.

— Майор Смирнов понял главное: что перед ним фронтовик, который спасает друга, и сам не захотел брать грех на душу, — твёрдо сказал Борис Львович. — Но тот молодой лейтенант обиды не простил. Двадцать второго марта Аркадий Соломонович Гринберг умер во время обыска у себя на улице Ленина. А через три недели к нам в магазин нагрянула показательная ревизия ОБХСС и горторготдела. Искали неучтёнку, перевернули весь склад, ничего криминального не нашли, но магазин закрыли на два месяца «ввиду аварийного состояния перекрытий», а Илью Матвеевича сняли с должности директора и уволили без пенсии по статье о халатности. Осенью того же года у него случился первый удар. Он прожил ещё восемнадцать

лет, но на работу больше не вернулся. Вот какую цену заплатил мой учитель за то, чтобы этот кусок латуни не попал в печь в семьдесят втором году, Александр Павлович.

В полуподвале стало тихо, только десятки старинных маятников на стенах продолжали отстукивать секунды ушедшего века.

Верещагин молча достал из бумажника больничную справку с Земледельческой улицы и коротко, без лишних эпитетов рассказал старику о том, что они с Аней услышали вчера на третьем валике в присутствии шестидесятиоднолетнего Марка Блюма — настоящего сына Аркадия и Лиды Гринберг.

Когда он закончил, Борис Львович долго сидел неподвижно, прикрыв тяжёлые веки. Потом тяжело поднялся, опираясь на палку, ушёл за бархатную занавеску в подсобку и через три минуты вынес на прилавок две вещи: рассохшуюся амбарную книгу в мраморном картоне за тысяча девятьсот шестьдесят восьмой год и старую деревянную коробочку из-под готовальни.

Он раскрыл книгу на странице с квитанцией № 418.

Верещагин и Аня наклонились над пожелтевшим листом. Внизу, в графе «Подпись сдатчика», фиолетовыми чернилами, чуть дрогнувшей от волнения, но удивительно чистой и стремительной рукой было выведено: «Гринберг Л. П. 14.III.68 г.». И почерк этот — с характерным высоким взлётом заглавной «Г» и прямым нажимом — был до слёз похож на учительский почерк Анны Михайловны из блокадного письма сорок второго года.

А следом Борис Львович вынул из-за обложки амбарной книги сложенный вчетверо, пожелтевший на сгибах лист вечерней газеты «Вечерний Ленинград» за субботу двадцать третьего марта тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года. В самом низу четвёртой полосы, между расписанием кинотеатров и сводкой погоды, чернела узкая траурная рамка:

«22 марта 1968 года на 54-м году жизни скоропостижно скончался старейший мастер точной механики Аркадий Соломонович Гринберг. Гражданская панихида состоится 26 марта в крематории».

— Илья Матвеевич вырезал эту газету и вложил прямо против её подписи, — тихо сказал старый оценщик и сдвинул крышку деревянной готовальни. — А вот то, что сорок лет провисело на медной проволоке за гирями старого «Беккера».

На выцветшем чёрном бархате лежал точёный латунный валик — светлее третьего, почти золотистый, с глубокой и свежей, словно вчера прорезанной сапфировым резцом спиральной дорожкой и чёткой цифрой «№ 5» на торце.

— В восемьдесят шестом году, за два дня до смерти, Илья Матвеевич позвал меня к постели, отдал ключи от часов и сказал: «Боря, Лидия Павловна не пришла за валиком ни через месяц, ни через десять лет — верно, боялась слежки или сама сложила голову на чужбине. Но если когда-нибудь объявятся её дети или честные люди, которые ищут правду об Аркадии Соломоновиче, — отдай им пятый номер и ничего не бери взамен. Мы с часовщиком Гринбергом квиты с сорок третьего года».

Борис Львович взял пятый валик и торжественно положил его на сукно рядом с третьим и седьмым:

— Забирайте, Александр Павлович. Теперь я вижу, что не зря вчера захлопнул дверь перед носом этого хозяйчика из «Ковчега». Только выходите сейчас не на Литейный, где вас караулит в серой машине тот стриженый бычок, а через мою заднюю дверь в дворовый флигель — оттуда проходными дворами выйдете прямо на улицу Пестеля к Пантелеймоновскому мосту.

К полудню ветер с Финского залива усилился, гоня по свинцовой воде Невы короткую злую волну с белыми барашками.

Особняк архивного корпуса Государственного музея истории города на набережной Лейтенанта Шмидта стоял лицом к студёному простору реки — старинное двухэтажное здание с жёлтым фасадом, белыми дорическими колоннами и чугунными решётками в цоколе. Полина Ковалёва ещё вчера вечером созвонилась со своим университетским коллегой Николаем Геннадьевичем Смирновым и предупредила, что к нему приедет реставратор Верещагин с дочерью по вопросу бумаг шестьдесят восьмого года, но, поднимаясь по широкой каменной лестнице с выщербленными ступенями на второй этаж, Александр Павлович чувствовал внутреннюю натянутость. Одно дело — разговаривать со старым антикваром Кацем, чей учитель спасал валики Гринберга, и совсем другое — идти к сыну майора КГБ, который двадцать второго марта шестьдесят восьмого года пришёл с ордером в квартиру часовщика.

Кабинет заведующего сектором документальных фондов находился в самом конце длинного сводчатого коридора, заставленного старыми дубовыми шкафами с каталожными ящиками. Верещагин постучал в высокую филёнчатую дверь.

— Войдите! — откликнулся изнутри глуховатый, резкий мужской голос.

Кабинет оказался узким, похожим на пенал, с одним высоким окном, выходившим в хмурый колодец музейного двора. Все стены от пола до сводчатого потолка закрывали стеллажи с картонными архивными папками на тесёмках; на краю старого двухтумбового стола под зелёной лампой дымилась кружка крепкого чая, а рядом лежала початая пачка «Беломора» и пачка таблеток валидола.

За столом сидел сутулый, худой человек лет пятидесяти пяти в мешковатом сером свитере грубой вязки с протёртыми на локтях рукавами. У него было узкое, землистое лицо с глубокими вертикальными складками у рта, рано поседевшие виски и быстрые, колючие глаза за очками в тонкой стальной оправе. Левое веко его время от времени едва заметно подёргивалось.

— Верещагин? — Смирнов поднялся из-за стола, но руки не протянул — только коротко указал на два жёстких стула напротив. — Садитесь. И закройте дверь плотнее, в коридоре у нас уши на каждом метре. Полина сказала, что у вас ко мне разговор на пятнадцать минут по фонду восемьдесят девятого года. Предупреждаю сразу: у меня в два часа дня учёный совет, а вчера вечером ко мне домой на Васильевском уже звонил какой-то господин Вельяминов от миллионера Блюма и предлагал спонсорскую помощь музею за доступ к закрытым коробкам шестьдесят восьмого года. Я бросил трубку. Если вы пришли от той же конторы — можете не тратить время.

— Мы пришли не от Вельяминова, Николай Геннадьевич, хотя Марк Блюм действительно ждёт итогов нашего разговора, — спокойно ответил Верещагин, расстёгивая плащ. — Только нынешний Марк Блюм — не сын полковника Соломона Блюма. Вчера мы нашли документы и звуковую запись сорок девятого года: он родной сын часовщика Аркадия Соломоновича Гринберга и Лидии Павловны Левитиной, которого полковник Блюм усыновил под угрозой ареста семьи.

Нервный тик под левым глазом историка вдруг остановился. Смирнов медленно опустился обратно на свой стул, не сводя пристального, тяжёлого взгляда с лица реставратора.

Верещагин достал из кармана три латунных цилиндра — «№ 3», «№ 5» и «№ 7» — и выстроил их в ряд на краю стола рядом с пачкой «Беломора».

— Вчера вечером Полина нашла в спецхране протокол вскрытия домашнего сейфа полковника Блюма от двадцать девятого апреля шестьдесят восьмого года, подписанный вашим отцом, майором Геннадием Петровичем Смирновым, — негромко продолжил Александр Павлович. — Валики один, два и шесть тогда изъяли и позже уничтожили. Третий и седьмой Аркадий Соломонович сумел спрятать внутри самого секретера. А вот этот пятый номер мы с дочерью полчаса назад забрали на Литейном, сорок восемь — в том самом бывшем двенадцатом комиссионном магазине, куда двадцатого марта шестьдесят восьмого года приходил с проверкой ваш отец.

Смирнов смотрел на золотистый цилиндр с цифрой «№ 5» так, словно перед ним на стол положили неразорвавшуюся гранату времён блокады. Его худые пальцы с пожелтевшими от никотина ногтями невольно сжались в кулаки.

— Значит, тот старый однорукий директор комиссионки в шестьдесят восьмом году всё-таки спрятал валик от отца... — глухо выговорил он.

— Директор Гольдфарб не от вашего отца его прятал, Николай Геннадьевич, — мягко вмешалась Аня. — Нам только что рассказали в лавке на Литейном, как всё было на самом деле. Ваш отец прекрасно видел, что акт об утере детали под гнилыми полами списан задним числом, но остановил молодого лейтенанта и сам подписал бумагу, чтобы не забирать семейную запись Гринбергов в управление.

Лицо Смирнова вдруг исказилось горькой, болезненной усмешкой. Он снял очки, бросил их на бумаги и крепко потёр ладонями запавшие глаза.

— Не надо делать из моего отца праведника, девушка, — глухо и жёстко сказал он. — Праведники в четвёртом отделе управления на Литейном до майорских погон не дослуживались. Вы думаете, я не знаю, кем был мой отец Геннадий Петрович Смирнов? Мне было пятнадцать лет в марте шестьдесят восьмого года. Я учился в восьмом классе и гордился тем, что отец у меня — чекист, фронтовик, орденоносец. А вечером двадцать второго марта шестьдесят восьмого года он вернулся домой в девять часов — без фуражки, в расстёгнутой шинели, лицо серое, как штукатурка, и от него разило аптечным эфиром из машины скорой помощи. Мать кинулась к нему в прихожей: «Гена, что с тобой?!». А он прошёл на кухню, сел на табурет у окна, выпил полный гранёный стакан водки как воду и сказал при мне: «Я сегодня утром чело-

века на улице Ленина до смерти довёл. Старого часовщика, который мне в сорок четвёртом году на Карельском перешейке трофейный компас перед разведкой чинил».

В узком музейном кабинете повисла тяжёлая, давящая тишина.

— Отец через месяц после того дня подал рапорт об увольнении по болезни и выслуге лет, хотя ему было всего сорок шесть и ему прочили место заместителя начальника отдела, — продолжал Смирнов, глядя в тёмное стекло окна. — Одиннадцать лет он прожил на пенсии, работал ночным диспетчером в таксопарке на Петроградской и медленно сжигал себя водкой и папиросами. Ни со мной, ни с матерью о том мартовском утре больше ни разу не заговорил. А когда в семьдесят девятом году его похоронили на Северном кладбище после второго инфаркта, я стал разбирать его старый письменный стол и за задней стенкой ящика нашёл неотправленное письмо и копию того самого акта изъятия из сейфа Блюма.

Он повернулся к стальному сейфу в углу кабинета, отомкнул замок ключом со связки и достал оттуда тонкую картонную папку без архивного шифра. Раскрыв её перед Верещагиным, историк вынул лист плотной сероватой бумаги, исписанный крупным, неровным, летящим вправо почерком.

— Это отец написал двадцать третьего марта шестьдесят восьмого года — на следующий день после смерти Гринберга. Хотел отнести на приём к начальнику управления генералу, да, видно, мать в дверях перехватила и умолила не губить семью и меня, школьника. Читайте.

Александр Павлович поправил очки и прочитал короткие, рваные строчки:

«Я двадцать четыре года выполнял любые приказы без рассуждений, но вчерашний обыск на квартире механика Гринберга А. С. перешёл предел того, что человек может носить на совести. Я предупреждал заместителя начальника отдела подполковника Круглова В. И. ещё 18 марта, что после инфаркта полковника Блюма нельзя устраивать силовой налёт на больного человека, который двадцать шесть лет работал на управление. Часовщик Гринберг ни в чём не был виноват перед страной — он стал заложником личной тайны полковника Блюма и амбиций подполковника Круглова, решившего за спиной умирающего начальника захватить закрытый архив валиков. Когда мы вчера утром вошли в комнату с ордером и лейтенант Зотов полез ломать крышку немецкого секретера, у Гринберга разорвалось сердце на моих руках. Я зажимал ему грудь на полу до приезда врачей, а он смотрел на меня через разбитые очки и не мог вздохнуть. Прошу освободить меня от занимаемой должности. Я больше не могу спать по ночам. Майор Смирнов Г. П.».

Аня молча перевела взгляд с пожелтевшего листа на ссутулившегося историка:

— Николай Геннадьевич... Так вот кто был тот молодой лейтенант с колючими глазами, который двадцатого марта кричал в комиссионке на Литейном, а через месяц натравил на директора Гольдфарба ревизию ОБХСС! Лейтенант Зотов, человек подполковника Круглова! А ваш отец пытался остановить этот обыск ещё восемнадцатого марта...

— Пытался на словах, а двадцать второго марта всё равно взял под козырёк и пошёл старшим группы с ордером Круглова, потому что боялся потерять партбилет и пенсию! — с горькой, непримиримой сыновней болью отрезал Смирнов. — Знаете, почему я после университета пошёл работать именно в этот музейный архив и двадцать лет сижу в этом склепе на

набережной Шмидта? Потому что осенью восемьдесят девятого года, когда управление сбрасывало старый балласт и передавало нам по акту № 114-с списанные коробки четвёртого отдела, я увидел в накладной знакомые с детства фамилии: «Блюм С. М.» и «Гринберг А. С.».

— Эти коробки сейчас у вас в секторе? — быстро спросил Верещагин.

— Они лежат внизу, в неотапливаемом каземате старого дворового флигеля, под свинцовыми пломбами восемьдесят девятого года, — глухо ответил Смирнов. — Там две фанерные коробки: одна — бумаги из домашнего сейфа полковника Блюма, которые отец описывал двадцать девятого апреля шестьдесят восьмого года, вторая — три рабочие тетради и чертежи самого Аркадия Гринберга, изъятые на улице Ленина в день его смерти. Я за семнадцать лет двадцать раз спускался в этот подвал с кусачками в кармане, стоял перед стеллажом и не мог заставить себя срезать пломбу. Смертельно боялся, что открою ящик — и увижу внутри протокол, где рукой моего отца записано что-нибудь такое, после чего я даже на кладбище к нему ездить перестану.

Александр Павлович спокойно положил ладонь поверх сжатого кулака историка на столе:

— Вчера мы с Аней и Марком Аркадьевичем слушали записи его отца Аркадия Гринберга, Николай Геннадьевич. А сегодня вечером мы прослушаем в мастерской этот пятый валик из комиссионки, записанный четырнадцатого марта шестьдесят восьмого года. И я ручаюсь вам головой старого ремесленника: в тех ящиках в подвале нет бесчестья вашего отца. Зато там есть дневники Аркадия Соломоновича и адрес в Москве, куда за сутки до обыска уехала его жена Лидия Павловна. Нам нужно открыть эти коробки.

Смирнов долго молчал, глядя на три латунных валика, а затем посмотрел на свои наручные часы.

— Сейчас час дня, в верхнем зале флигеля до шести вечера сидят четыре сотрудницы из отдела каталогизации, а к тому же после вчерашнего звонка Вельяминова наш директор музея уже спрашивал меня утром, не числятся ли у нас в фондах какие-то редкие технические чертежи шестидесятых годов, — тихо, уже по-деловому сказал историк. — Если мы пойдём туда сейчас днём, поднимется шум и коробки затребуют в дирекцию. Давайте сделаем так: сегодня вечером вы спокойно прослушаете у себя в мастерской пятый валик. А завтра к девяти утра, за час до официального прихода сотрудников, приезжайте сюда к служебному входу со двора. Я проведу вас мимо вахты, и мы разберём бумаги Гринберга и Блюма без чужих глаз.

В мастерскую на Малый проспект они вернулись в пятом часу дня, утомлённые ветром, ходьбой по гранитным набережным и тяжестью чужих судеб, спрессованных в один короткий октябрьский день.

Прежде чем открывать секретер, Аня категорически потребовала сделать передышку и нормально поужинать. По дороге от метро она зашла в маленькую лавку на углу Пионерской, купила буханку ещё тёплого круглого ржаного хлеба, кусок малосольной брынзы, три пахучих осенних помидора и две бутылки густого кефира.

Устроились прямо за расчищенным краем верстака — не потому, что в мастерской не было другого места, а потому, что оба невольно держались поближе к дрезденскому бюро, стоявшему на козлах под жёлтым светом лампы. Александр Павлович резал хлеб и сыр тонким

сапожным косяком на чистой дубовой дощечке, Флюшка с достоинством вылавливала когтем из блюдца каплю кефира, и эта простая, мирная трапеза среди стружки и стамесок странным образом возвращала им обоим почву под ноги.

— Знаешь, о чём я всё время думаю после разговора со Смирновым, пап? — тихо сказала Аня, глядя на маленький золотистый цилиндр «№ 5», лежавший на замшевом лоскуте посреди стола. — Мы вчера после рассказа о ноябре сорок девятого года видели всё в чёрно-белом свете: вот святой страдалец Аркадий Гринберг, а вот чудовище в кожаном пальто полковник Блюм и его цепные псы из управления. А начинаешь снимать слой за слоем, как ты снимаешь старую почерневшую олифу с дерева, — и оказывается, что в марте шестьдесят восьмого года майор Смирнов спасал валик в комиссионке и задыхался от горя над телом часовщика, а за самим Гринбергом охотился вовсе не Блюм, который в те дни сам умирал от инфаркта в больнице, а какой-то молодой карьерист подполковник Круглов...

— В старом дереве никогда не бывает одного цвета, дочка, — задумчиво ответил Верещагин, сметая хлебные крошки в ладонь. — Снаружи лак кажется чёрным как смоль, а снимешь верхнюю корку — там и свилеватый прожилок от сучка, и красное живое волокно, и след от старого ожога. Одно я знаю точно: четырнадцатого марта шестьдесят восьмого года, когда Блюм уже лежал в больнице, Аркадий и Лида понимали, что кольцо вокруг их дома на улице Ленина сжимается. И перед тем как Лида понесла этот пятый валик к директору Гольдфарбу на Литейный, они записали на него то, что не могли доверить бумаге.

Когда со стола было убрано, а входная дверь проверена и заперта на засов, они приготовились к прослушиванию.

Сегодня Аня не стала надевать на плечо отца манжету тонометра и сидеть в стороне с бинтами наготове. Вчерашний опыт с двойной дорожкой третьего валика научил их обоих главному правилу гринберговского резонатора: когда на полированную доску секретера ложатся руки двух людей сразу, акустический удар делится пополам, теряя свою разрушительную для сосудов остроту, а сапфировая игла идёт по латунной спирали мягко и глубоко.

Аня поставила свой табурет бок о бок с отцовским, зажгла толстую восковую свечу на медном шандале и погасила верхний свет.

Верещагин вставил валик «№ 5» в шлицы втулки под чернильницей. Прижал правую ладонь к махагони справа от медного кольца; Аня положила свою узкую тёплую ладонь слева, а свободной рукой крепко сжала пальцы отца.

— Готова, дочка?

— Давай, пап.

Большой палец Верещагина мягко утопил кольцевую педальку под чернильницей. Внутри корпуса тихо, как далёкий колокол, вздохнули серебряные струны над карпатской елью, по двум парам рук побежала тёплая, певучая дрожь, и язычок свечи бесшумно растворился в темноте.

Пространство вокруг них не обрушилось холодом и не сдавило виски табачным угаром — оно раскрылось мягким, тёплым, пронзительно домашним светом настольной лампы под оранжевым шёлковым абажуром с тёмной бахромой.

Верещагин и Аня стояли плечом к плечу внутри угловой комнаты на улице Ленина вечером четырнадцатого марта тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года.

За высокими окнами шумел по крышам мокрый мартовский снег с дождём, по стеклу медленно ползли подсвеченные уличным фонарём капли. В комнате было удивительно чисто, тихо и уютно: светлые обои в мелкий синий цветочек, старый ореховый буфет с гранёными рюмками за стеклом, на стене над тахтой в тяжёлой золочёной раме — репродукция айвазовского «Девятого вала», а на круглом столе под чистой клеёнкой стоял фарфоровый чайник под стёганой бабой-грелкой и две недопитые чашки. В воздухе тонко пахло горячим паяльным оловом, сушёным чабрецом и каплями Зеленина.

За открытым секретером сидел Аркадий Соломонович Гринберг.

За девятнадцать лет, прошедших с той страшной ноябрьской ночи сорок девятого года, он сильно сдал и почти весь поседел. На вид ему было гораздо больше его пятидесяти трёх лет: сутулая спина в серой домашней вязаной безрукавке поверх фланелевой рубашки, глубокие горестные складки у уголков рта, мешки под усталыми глазами за толстыми стёклами очков. Но руки его — широкие в кисти, с длинными чуткими пальцами часовщика — двигались всё с той же безукоризненной, спокойной точностью.

Он только что закончил вырезать тонким гравировальным штихелем цифру «№ 5» на торце вынутого из токарной оправки латунного валика, бережно сдул с металла золотистую стружку на лист бумаги и посмотрел на свою работу сквозь налобную лупу.

А рядом с ним у края стола стояла сорокапятилетняя Лида.

Она была худенькой, очень прямой, в тёмно-синем шерстяном платье со скромным белым воротничком и накинутым на плечи серым оренбургским платком. В её тяжёлых тёмных косах, уложенных короной вокруг головы, уже серебрились широкие седые пряди, но светлые глаза на бледном, тонком лице смотрели с той же чистой, безоглядной прямотой, что и на фотографии сорок первого года.

— Готово, Лидочка, — негромко сказал Аркадий, сдвигая лупу на лоб и вставляя свежий валик в гнездо под чернильницей. — Нарезка чистая, латунь с колокольной присадкой, этой записи и через сто лет сносу не будет. Через полчаса, пока совсем не стемнело, ты наденешь пальто, выйдешь через проходной двор на Большой проспект и свезёшь его к Илье Матвеевичу на Литейный.

Лида не шевельнулась — только крепче сжала пальцами концы пухового платка на груди:

— Аркаша, я не пойду никуда и не поеду в Москву без тебя. Ты слышишь меня? Вчера Соломона Моисеевича увезли из управления с инфарктом, и сегодня утром, когда я пришла на Кировский проспект покормить Рахиль, в кабинете Соломона уже распоряжался этот подполковник Круглов со своим лейтенантом Зотовым! Они рылись в его бумагах и даже не постеснялись меня — Круглов посмотрел на меня в коридоре и сказал: «С этой недели в услужении

больше не нуждаемся, гражданка Гринберг, а к вашему супругу мы на днях заглянем побеседовать о технике безопасности». Если Соломон не поднимется в больнице, нас больше никто не прикроет! Зачем ты заставляешь меня прятать этот валик и ехать к тёте Жене одной?!

Аркадий повернулся на стуле, обхватил её тонкие, дрожащие запястья своими тёплыми ладонями и прижал к щеке:

— Послушай меня, родная моя. Ведь Соломон Моисеевич ещё четвёртого марта, когда сам, задыхаясь на каждой ступеньке, поднялся к нам вечером на третий этаж, предупредил меня об этом. Круглов метит на его кресло начальника отдела, и чтобы окончательно добить старика Блюма перед Москвой, ему нужно доказать, что Блюм девятнадцать лет скрывал у себя в доме незаконно усыновлённого сына подследственного механика Гринберга, а сам Гринберг хранит дома дубликаты секретных валиков!

— Так тем более нам нужно бежать из Ленинграда сегодня же ночью вдвоём! — в голосе Лиды звенело отчаяние. — Бросим всё, сядем на ночной поезд!

— Лидочка, девочка моя, опомнись, — мягко, с бесконечной печальной нежностью проговорил часовщик. — Под окнами во дворе со вчерашнего вечера дежурит человек Зотова. Если мы выйдем из парадной вдвоём с чемоданами, нас снимут с поезда на первой же станции, объявят попытку побега носителя гостайны, и тогда Круглов получит законный повод арестовать нас обоих и сломать жизнь нашему Маркуше! А Марку двадцать лет, он на третьем курсе университета, он позавчера на лестнице сам заглянул мне в душу через твои глаза, когда спросил тебя про детский локон в твоём медальоне!

Аркадий поднялся со стула, взял жену за плечи и посмотрел ей прямо в лицо:

— Пока я остаюсь здесь, в квартире, спокойно чиню часы для заказчиков и сижу у них на виду, я связываю Круглову руки: без прямых улик он не решится арестовать слепого часовщика с больным сердцем. А ты через несколько дней спокойно, с одной маленькой сумочкой уедешь утренним поездом в Москву на улицу Горького, будто проведать захворавшую тётю Женю. Когда они придут сюда с проверкой и убедятся, что в секретере пусто, а старые расчёты я сжёг в печке, они отстанут от меня, и я через три дня приеду к тебе в Москву.

Лида смотрела на него снизу вверх расширенными, полными слёз глазами:

— Аркаша, ты мне не лжёшь? У тебя позавчера ночью опять отнималась левая рука, ты валидол горстями пьёшь! Поклянись мне жизнью Маркуши, что приедешь ко мне в Москву!

У стоявших внутри записи Верещагина и Ани сжалось сердце: они видели то, чего из-за спины мужа не могла видеть Лида — как под серой вязаной безрукавкой судорожно дёрнулась левая лопатка часовщика и какого нечеловеческого усилия стоило ему сохранить на губах спокойную, ясную улыбку.

— Клянусь тебе, Лидочка, — твёрдо и ровно сказал Аркадий. — Сдам морской хронометр заказчику, закрою комнату на ключ и приеду. А сейчас садись к секретеру. Я уже пустил маховик на запись. Скажи на этот пятый валик всё, что у тебя на сердце — для своей мамы Анны Михайловны, которой ты так и не успела ответить в июне сорок шестого года, и для

нашего сына Марка. Чтобы когда вся эта морок останется позади, память о сегодняшнем вечере сохранилась чистой. Ну же, садись, я отвернусь к окну, чтобы не смущать тебя.

Он отошёл на два шага к занавешенному окну, заложив руки за спину и глядя сквозь мокрое стекло вниз, во двор, где под фонарём маячила чужая тень в сером плаще.

А Лида опустилась на стул перед откидной доской секретера, положила обе ладони на полированное красное дерево — прямо поверх тех самых мест, где сейчас лежали ладони Верещагина и Ани, — наклонилась к медному кольцу чернильницы и заговорила тихим, грудным, дрожащим от сдерживаемых рыданий голосом:

— Мамочка моя родная... Если ты слышишь меня сейчас оттуда, где нет ни голода, ни страха, — прости меня за то, что в июне сорок шестого я опоздала к тебе на три недели. Я ведь тогда прибежала с вокзала прямо сюда, увидела на дверях чужие замки, а мне соседка сказала, что тебя уже схоронили на Серафимовском... Если бы не Аркаша, который отогрел меня тогда своими руками, я бы не выжила.

Она замолчала на секунду, сглотнув слёзы, и прижалась щекой к деревянной переборке бюро:

— И ты, Маркуша, сыночек мой единственный, солнышко моё ненаглядное... Если бог даст и этот валик когда-нибудь попадёт в твои руки — знай, что каждую минуту всех этих двадцати лет, пока я входила в квартиру на Кировском проспекте через чёрный ход в фартуке прислуги, моё сердце разрывалось от любви к тебе. Когда тебе было пять лет и мы сидели с тобой на дальней скамейке в Таврическом саду, ты вдруг погладил меня ладошкой по щеке и сказал: «Тётя Лида, а почему от вас пахнет так, будто я у вас дома жил?». Я тогда уткнулась лицом в твою матроску, чтобы ты не увидел моих слёз... Аркаша отправляет меня в Москву, к маминой сестре Евгении Михайловне на улицу Горького, двенадцать, и поклялся приехать следом. Что бы с нами ни случилось дальше, помни одно, родной мой: ни ты, ни твой папа Аркадий Соломонович никогда ни перед кем не были виноваты. Мы любили тебя больше жизни. Я буду ждать тебя каждый день, сколько мне отпущено на этой земле...

Аркадий бесшумно подошёл сзади, положил свои широкие ладони часовщика на худые плечи жены, наклонился и совсем тихо, в самый конец убегающей латунной спирали добавил:

— Прощай, сынок. Береги маму.

Щёлкнул концевой стопор.

Оранжевый круг настольной лампы над круглым столом и картина «Девятый вал» на стене мягко растаяли в полумраке мастерской.

На этот раз ни у Верещагина, ни у Ани не закружилась голова и не онемели пальцы — запись четырнадцатого марта шестьдесят восьмого года была наполнена такой чистой, жертвенной человеческой нежностью, что после неё в груди оставалась только светлая, щемящая боль.

Аня медленно подняла голову, вытерла тыльной стороной ладони мокрые щёки и посмотрела на отца:

— Пап... Она назвала точный адрес в Москве: улица Горького, дом двенадцать, к маминой сестре Евгении Михайловне! И теперь мы знаем всё: почему Аркадий остался в Ленинграде один, почему Лида не приехала на его похороны двадцать шестого марта и почему в этой истории виноват не Соломон Блюм, а подполковник Круглов со своим лейтенантом Зотовым!

Александр Павлович осторожно вынул тёплый пятый валик из гнезда и завернул его в замшу.

— Мы знаем почти всё, дочка, — тихо сказал он. — Осталось узнать, что записано в тех трёх тетрадях Аркадия Соломоновича, которые лежат под пломбой в подвале у Николая Смирнова: в какой именно день Лида уехала в Москву, в какую квартиру дома номер двенадцать на улице Горького нам стучаться и почему сам полковник Блюм перед смертью передал Марку четвёртый валик.

Ночь перед походом в музейный архив прошла тихо, но спал Александр Павлович чутко и неглубоко.

Аня снова осталась ночевать на раскладушке у печки, а Флюшка устроилась посередине между ними на старом домотканом половике, свернувшись плотным полосатым калачиком и время от времени вздрагивая во сне ушами, словно ловила сквозь половицы шорох мышей.

Но Верещагину под утро снились не мыши.

Ему снился Аркадий Соломонович Гринберг — таким, каким он увидел его вчера вечером под оранжевым абажуром: седой, сутулый, в вязаной безрукавке и очках с толстыми линзами. Часовщик сидел за его, Верещагина, собственным верстаком на Малом проспекте и тонким штихелем выводил что-то на торце латунного цилиндра. Только вырезал он не цифру, а какое-то длинное слово или имя. Верещагин во сне наклонялся к его плечу, пытался разглядеть буквы под блеском лампы, а Аркадий поднимал на него усталые, добрые глаза и говорил спокойно: «Не торопись, коллега. Смотри в чертёж, я там всё для твоих рук разметил».

Александр Павлович открыл глаза без четверти шесть утра.

За окном ещё стояла глухая, чернильная октябрьская темень, лишь на мокрой решётке поблёскивал желтоватый отсвет уличного фонаря. Он тихо, чтобы не разбудить дочь, поднялся с дивана, умылся холодной водой над чугунной раковиной, поставил чайник и насыпал Флюшке в миску корма. Кошка поела с аппетитом — верный признак того, что день предстоял рабочий и правильный.

В половине восьмого проснулась Аня. Окинула отца придирчивым врачебным взглядом с раскладушки и безапелляционно скомандовала:

— Сначала горячий завтрак и таблетка, потом архив. Падать в голодный обморок над описью восемьдесят девятого года я тебе не позволю.

Они позавтракали оставшимся с вечера ржаным хлебом с брынзой и горячим чаем, уложили в кожаный саквояж фонарик, лупу и фотоаппарат и вышли из дому в четверть девятого.

Утро на Васильевском острове встретило их студёным белесым туманом, который поднимался от тяжёлой невской воды и окутывал чугунные решётки набережной Лейтенанта Шмидта. Редкие прохожие торопливо ныряли в гулкие арки линий, а над гранитным парапетом с резкими, скрипучими криками кружили крупные морские чайки.

Николай Геннадьевич Смирнов уже ждал их у чугунных ворот служебного въезда во двор музея.

Он пришёл за полчаса до открытия — в поношенном драповом пальто с поднятым воротником, с потёртым кожаным портфелем под мышкой и с серым, осунувшимся лицом человека, который сегодня ночью тоже не сомкнул глаз.

— Вовремя, — коротко кивнул он, пропуская их через калитку во внутренний двор. — Вахтёр на проходной свой, старый мичман с Балтфлота, я записал вас в журнал как реставраторов из Эрмитажа, прибывших для осмотра деревянных фондов. Идёмте сначала ко мне наверх — я вчера вечером после вашего ухода задержался в хранилище до десяти часов и поднял приходную ведомость восемьдесят девятого года по акту № 114-с. Там открылась одна деталь, о которой не знала ваша Полина.

Они быстро прошли через пустой гулкий вестибюль служебного корпуса, пахнущий мастикой для паркета и сырой штукатуркой, и поднялись по узкой задней лестнице в кабинет Смирнова на втором этаже.

Заперев дверь изнутри на ключ, историк положил портфель на стол, расстегнул пряжки и достал оттуда не вчерашнее письмо отца, а старую картонную папку с пожелтевшими листами машинописной описи и подколотым к ней рукописным рапортом на бланке четвёртого отдела.

— Смотрите сюда, Александр Павлович, — Смирнов ткнул пальцем в нижний абзац рапорта, датированного двадцать девятым апреля тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года — днём, когда комиссия вскрывала домашний сейф умершего полковника Блюма. — Полина читала в архиве на Таврической только итоговый протокол изъятия, где значились три валика — первый, второй и шестой. А это — первичный рабочий рапорт моего отца, приложенный непосредственно к коробкам при сдаче их в спецхран! Читайте примечание в конце листа.

Верещагин надел очки и наклонился над выцветшей машинописью с рукописной припиской майора Смирнова:

«При осмотре личного сейфа полковника Блюма С. М., помимо трёх звуковых цилиндров (№ 1, № 2, № 6), на нижней полке обнаружен деревянный футляр с гнездом от четвёртого цилиндра без номера (цилиндр в наличии отсутствует), а также опечатанный сургучом личный пакет Блюма С. М. и три рабочие тетради механика Гринберга А. С., изъятые 22.03.1968 г. и затребованные полковником Блюмом С. М. из отдела в госпиталь 25.03.1968 г. Согласно распоряжению руководства управления, бумажные материалы опечатаны в два короба и сданы в архив без полистного разбора как не представляющие оперативного интереса».

Александр Павлович медленно поднял глаза на историка:

— Вы понимаете, что здесь написано, Николай Геннадьевич? Три рабочие тетради Аркадия Соломоновича Гринберга, которые изъяли на улице Ленина в день его смерти двадцать

второго марта, не попали в руки подполковника Круглова! Через три дня, двадцать пятого марта, лежавший в больнице с инфарктом полковник Блюм каким-то образом сумел затребовать их к себе и спрятал в собственном домашнем сейфе вместе со своим личным сургучным пакетом!

— Именно так! — глаза Смирнова за стёклами очков лихорадочно блестели. — Мой отец двадцать второго марта после смерти Гринберга не сдал тетради часовщика Круглову, а отвёз их прямо в Свердловскую больницу самому полковнику Блюму! А когда через месяц Блюм умер и отца послали описывать его домашний сейф, отец опечатал и тетради Гринберга, и личный пакет Блюма в ящики под видом «бумаг, не представляющих оперативного интереса», чтобы Круглов и Зотов никогда не заглянули внутрь! Отец спрятал их в спецхране на двадцать один год, а в восемьдесят девятом году они перекочевали прямо ко мне в музей!

Аня переглянулась с отцом:

— Значит, полковник Блюм в последние недели жизни в больнице читал дневники Аркадия Гринберга и прятал их от своих заместителей... И поэтому перед самой смертью отдал Марку четвёртый валик!

Смирнов посмотрел на часы — стрелки показывали четверть десятого. В коридоре за дверью уже послышались первые шаги и голоса пришедших на службу архивисток.

— Сейчас сотрудники разойдутся по верхним рабочим залам, а в нижний каземат дворового флигеля сегодня по графику никто спускаться не должен, но днём светить там фонарями через двор на глазах у дирекции слишком рискованно, — тихо и решительно сказал Николай Геннадьевич, убирая рапорт обратно в портфель. — Весьма вероятно, что после звонка Вельяминова наш директор сегодня заглянет ко мне в сектор. Сделаем наверняка: ровно в семь часов вечера, когда музей закроется, а дневная смена и сторож уйдут на обход главного корпуса, я буду ждать вас у задней калитки флигеля с ключами и кусачками. Спустимся в подвал и откроем оба ящика. Сегодня мы дочитаем эту историю до самого дна.

Гл

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.